

50 коп.

К978638

ВАСИЛИЙ ЕЛЕСИН * КРЕМЕШОК



ВАСИЛИЙ ЕЛЕСИН

КРЕМЕШОК



ВАСИЛИЙ
ЕЛЕСИН

КРЕМЕШОХ

ПОВЕСТЬ И РАССКАЗЫ



СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
АРХАНГЕЛЬСК
1982

P2
E50

Елесин В. Д.
E50 Кремешок. Рассказы. Повесть. — Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во,
1982 г.—159 с., ил.

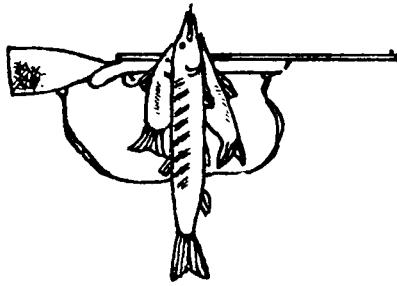
Это третья книга Василия Елесина, выпущенная Северо-Западным издательством. И хотя не все герои включенных в нее произведений безусы и молоды, книга адресована юному читателю, которого принято называть подростком. Автор не заслоняет от него тех сложностей, которые поджидают человека на житейских перекрестках, не сомневаясь, что юный гражданин прекрасно разберется, с кем из героев повести и рассказов ему по пути.

E 0762—033
M157(03)—82

P2



РАССКАЗЫ



«МУХА»

Говорят, что мы познакомились с Женькой, когда стукнуло нам три года на двоих. Знакомство вроде бы состоялось в деревенской черной бане, где матери купали нас в одном корыте. Я мучительно пытаюсь представить, как это было. Из неизвестной глубины всплывает в воображении дом, вросший передом в землю, кривостольная береза в огороде и банная тропинка возле нее, застланная щелястыми дощечками.

Баня еще на улице обдает теплом и духом разогретых бревен. Внутри — жарко, горько, тесно.

— Что за притча? — дивится Валя, раскuttывая кумачового от крика и зноя Женьку. — Скажи, все глаза выело.

— Видно, камень горький попал, — отвечает Анна, сажая своего бутузя в корыто с водой. — Скажу ужо Митрию, пусть поглядит. Ну, задрало вас, окаянных!

Бутуз трет кулачонками глаза, сперва потихоньку, потом громче подпевая Женьке. Черные стены и низкий, закопченный потолок равнодушно впитывают двойной рев. Зев каменки загадочен и угрюм.

— Да сиди ты, беда! — негодует Анна, ловко намыливая головенку извивающегося как налим бутузя.

Женька устал орать. Он только обиженно всхлипывает, рассолодев от воды и жара, не сводит глаз с бутузя, который тоже замолк, но продолжает выскальзывать из мамкиных рук.

— Вот я уж теперь не знаю, как и делу быть, — насухо вытирая Женьку, продолжает Валя давешний разговор.

— А и знать нечего, — рубит Анна, — с малым-то дитем да идти за старика: подумай-ко! На него глянуть — страсть берет: глаза злющие, хитрые, сам сухой да долгой. Нет, зря ты, Валя, польстилась: не было мужиков, да и это — не мужик.

— Да ведь кабы знать... А уж он меня так зовет, так зовет! Ты, грит, Валентина, не лякайся, и хлопчика помалу до людей выведем. Чудной...

— Запорожец, Запорожец и есть.

Крики опять бьются в прокопченные стены. Женька тянет дискантом, бутуз переходит на басовые ноты. Женщины торопливо укутывают ребятишек тряпьем и бегом, чтобы не настынуть, подаются к дому.

* * *

Так ли все было в ту дальнюю военную годину? Никто не скажет теперь, потому что давно нет у нас с Женькой ни матерей, ни отцов, и одна только дружба выросла и возмужила вместе с нами. Валя, мать Женьки, все-таки вышла замуж за старика Запорожца, и скоро пасынок изведал тяжелую руку отчима...

* * *

— Женька! Вставай, хлопчик. Треба корову гнать.

Женька сладко сопит, повыше натягивая одеяло.

— Я кому казав? Ишь, чертов сын, вин ще потягивается!

Женька переворачивается на другой бок, поджимает ноги. Одеяло летит на пол, сброшенное сильной рукой. Затрецина скидывает Женьку с кровати. Он смешно открывает глаза, жмурится и, схватив штанишки, выскакивает в коридор. Через минуту звенит кольцо калитки, в проулок вываливается поджарая, комолая коровешка. За ней — Женька с хворостиной в руке, грязным кулаком протирает глаза.

Солнце только высунуло красный бок над вершинами далеких сосен. Пусто в поселке. По реке, что у леса, извилистая полоса тумана.

— Вот паразит старый,— ругается Женька, вполне, впрочем, беззлобно,— в такую рань поднял. Ни одной животины на улице нет.

Он гонит корову серединой дороги, вороша босыми ногами тяжелую пыль: тут меньше росы и не так мерзнут пятки. Женька не торопится, ему неохота подходить к приречному лугу, где роса легла часто, крупными ледяными каплями. Но как ни оттягивай неприятную минуту, она всегда приходит раньше, чем надо. Сперва Женька ступает по росе осторожно, будто по ручью, дно которого усеяно острыми камнями, потом, когда ступни посинеют, скрючатся и перестанут чувствовать холод, бежит бегом. Только тусклый колоколец набрякивает на коровьей шее.

Перегнав корову через бревенчатый мост, Женька садится на перила и греется на утреннем солнышке. Надо бы, конечно, сразу домой бежать, но он решает выждать, пока отчим не уйдет на работу. С мамкой поладить легче.

— Банзай, Муха! — кричит ему с берега Володька Косой, пригнавший свою корову.

Косой в башмаках, рослый, веселый, заспанный. Женька завидует. Рядом с Володькой он вроде недомерка, да еще сутулый. Оттого и выдумали такое противное прозвище — «Муха».

— Плевать,— думает Женька.— Муха так Муха. Хоть горшком назови.

Было время — дрался. Все ж таки обидно. Гад ты такой, обзываешься, а сам все дни на реке да в лесу пропадаешь. Поработал бы, как я, на сенокосе, поокучивал бы картошку на таком огородище, небось согнулась бы спина-то. Тебя отец с матерью жалеют, лучший кусок подсовывают, а мне с утра до ночи одни речи: дармоед, ужо положишь зимой зубы на полку...

* * *

Ранняя весна. Первым лихо сбрасывает с плеча снежную шубу обрывистый берег реки. Лед синеет и пухнет. Нас с Женькой за зиму здорово подвела голодуха. Лица — продолговатые, синие, что тот лед. Голова кружится, ноги будто ватные. Хвастаю:

— А мне Мишка с войны бинокль привезет. Я писал ему, чтобы привез.

— Ну да? — не верит Женька.— Где он возьмет?

— Эх ты, он ведь главным пулеметчиком на фронте. Пошли в атаку — раз, раз, немцев побили, а у них у каждого по биноклю. Только снимай. Он бы мне давно послал, да возиться неохота — воюет...

Женька стихает: у него на фронте нет ни отца, ни брата. И вообще нет никого, кроме мамки. Вдруг он вынимает из кармана «струнку», зовет:

— Пойдем сокести?

— Ага. Подожди, домой сбегаю, ножик возьму.

По черной унавоженной дороге пересекаем вздутую реку, подходим к лесу. Там снег только-только начал оседать, тяжелый и мокрый. Провалившись по пояс — валенки хоть лопатой отрывай. Женька ловко взирается на ель, смачно надрезает набухшую, ярко-луковичную кору и с хрустом сдирает огромный ошметок еловой кожи. А потом идет «струнка», тонкая проволочка с маленькими палочками, прикрученными с обоих концов. Приложиши ее к оголенному стволу, не спеша ведешь вниз. Длинная белая лента, истекающая соком, вкусна, сладка, ароматна. Едим до тех пор, пока к горлу не подступит серная горечь.

— Вот и сыты!

Давно отошел еловый и березовый сок, колоски и «пестики» на черных подснежных полях. Лето! С Женькой уговорились рыбу удить. Чтобы не ждать, пока отчим выдумает для него работу, Женька утром берет вместо хворостины свою маленькую удочку. В этот раз он не сидит на перилах, а во всю прыть скакет к моему дому.

— Ты раньше-то не мог встать? — ворчит мать, затопляя печь. — У меня Васька вовсю дрыхнет.

— А на зорьке, теть Анна, знаешь как клюет? Я вчерась окуня опустил — во!

— Опускать-то вы мастера! Хоть бы рыбинку домой прнесли.

Поеживаясь, полусонный, я еле поспеваю за бегущим впритруску Женькой. Карман бьет по ноге — там засохший кусок вчерашнего колобка из мерзлой картошки пополам с крапивой и банка с червями.

Немного ниже моста, через который Женька каждое утро гоняет корову, впадает в Кубину вертлявая и говорливая речонка. В устье посреди нее — подмытый со всех сторон шалой водой маленький островок. Летом до него добираться проще простого: засучил штаны до колена — и там. Со стороны Кубины к островку подходят глазастые юркие окуньки. Сверху сквозь прозрачную, чуть струящуюся воду они кажутся больше, чем на самом деле, полосы на боках — чернее, а плавники так и алеют, как маленькие флагги на ветру.

— Во! Видишь, сегодня первые! — торжествует Женька.

Дрожа от нетерпения и холода, разматываем удочки. Лески — черные нитки, скрученные вдвое, поплавки — из коры, грузила нет. Зато червей — сколько хочешь. Закидывая удочку, щелкаю носком удилища об воду.

— Тише ты! — шипит Женька, — всех распугаешь.

Окуньки, почуяв легкую добычу, подплывают ближе к берегу, лицемерят, будто бы равнодушно проплывая мимо червяков. Их пока только три: два маленьких — голова да хвост, третий — с ложку.

— Чур мой большой! — шепчет Женька.

Чур значит — закон.

— Ладно. Зато мои — оба два.

Первым не выдерживает один из малышей. Стремглав бросается он на Женькин крючок и, поднатужясь, тащит всю снасть прочь от берега. Женька резко дергает, и окунек падает в траву около его ног. Остальные, напуганные шумом, тотчас смываются. Ждем долго. А окуней все нет и нет.

— Не дождешься теперь, — говорит Женька. — Давай купаться.

— Давай!



Мы раздеваемся, показывая друг другу сухие тельца с пропущенными ребрами, и бросаемся в холодную, прозрачную воду.

Я плыву к перекату. Там мелко — всего по щиколотку, вода с пеной перехлестывает за обомщелые снизу, облизанные сверху камни. Сразу за перекатом — глубокий омут, где «крутит». Пытаюсь встать на скользкий валун, теряю равновесие и, стукнувшись коленкой, лечу в омут. Под водой на мгновение открываю глаза: высоко вверху, за зеленоватой толщей воды, косматое солнце светит прямо в глаза. Со страха захлебываюсь и теряю сознание. А когда прихожу в себя, Женька пытается затащить меня на крутой берег. Дрожащими ногами карабкаюсь в гору,

валюсь на траву и не могу понять, отчего Женька плачет. Встретив мой взгляд, он сердито отворачивается, маленький и сухой.

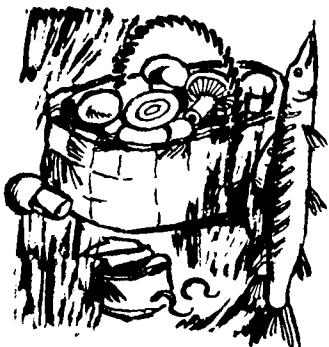
— Понес тебя черт в яму, — ворчит он, пытаясь отдохнуть, — чуть и меня не уволок к водяному...

* * *

Большое событие: Запорожец отпустил Женьку за грибами. Наказ, правда, дал:

— Та у лесу не шатайся без дила, бо ухи оборву.

Мы идем втроем: Женька, соседская девчонка Любка и я. Идем на дальнюю вырубку за волнушками. За лето щеки у нас округлились, блеск голодный в глазах исчез, ноги ходят крепче. Луговая дорога тянется берегом, то и дело падая в заросшие ольхой да черемухой ручьи и круто выбегая на пригорки. Идти весело и легко, пустые корзины — не тяжесть. Солнце выше — ноги тише. Кажется, конца не будет блещущим речным излукам, как вдруг тропинка круто поворачивает в сторону, пересекает хилое болотце и торжественно, прямо вклинивается в еловый бор. Кое-где по обочинам



проглядывает черничник. Как воробыи набрасываемся на позднюю, перезревшую и оттого вдвойне вкусную чернику.

— Фрр...

Испуганно вздрагиваю, смотрю вверх. На шелковистом суку ели спокойно устроились три молоденьких рябчика, поглядывают на меня с любопытством.

— Кшиш! — машу на них корзиной. Улетают весело, как напроказавшие ребятишки.

Только к полудню добираемся до вырубки, затянутой озорными осинками. На месте не усидишь: кругом — целые россыпи волнушек. Вот оно, грибное счастье!

Женька управился со своей корзиной быстрее всех и помогает мне. Вот и моя полна — еле поднимая. Вдвоем таскаем Любке пригоршни плотных, румяных грибов, а она охает:

— Ох, опять волнушку расступила!

Разошлись по новому кругу, нарвали по кепке волнушек, столкнулись с Женькой нос к носу.

— Любка! Иди сюда! — кричит Женька.

В ответ — молчание.

— Любка!! — орем в два голоса.

Не откликается.

— Надо искать. Наверно, она в большую вырубку забралась, — хмурился Женька.

— Да ну, она не успела туда и дойти, — возражаю я.

— Лю-юбка-а!!! — надрываемся снова.

Молчание.

Начинаем прочесывать вырубку. Устали, а впереди еще длинная-длинная дорога.

— Придет! — говорю я. — Пока на тропинке посидим, и придет.

— Нет, надо искать. А может, она в большой лес забралась. Пропадет.

Снова шастаем по кустам. Обоим не по себе, теперь и кричим-то не во весь голос, жалобно, будто просим. Ни звука. Мы и сами, кажется, заблудились. Не знаю даже, в какой стороне корзина. Вдруг Женька вскрикивает рядом:

— Ох ты, зараза! Все ноги обтопали, а она спит себе!

И верно. Приклонившись к недобранной корзине, Любка сладко всхрапывает. Со злости награждаем ее тумаками.

Тропинка, пока мы были на вырубке, потемнела той предсумеречной темнотой, какая бывает только в лесу. Отдыхаем перед дальней дорогой. Пока тащишь пудовую корзину, сойдет семь потов, и на ягоды не глядишь, и комаров не замечаешь. Чем ближе к дому, тем чаще привалы.

— Кто бы мои ножки поднес... — добродушно тянет Женька. Мы с Любкой хохочем:

— Ну и Муха!

* * *

Женька очень любил птиц. И очень не любил Володьку Косого. По правде сказать, и любить его было не за что. Володька — старше и сильнее нас, у него красивые наглые глаза, и бьет он жестоко и больно. Подойдет и начнет «чистить картошку»: так проведет костяшками пальцев по голове, что слезы из глаз. Дрался Володька постоянно, в драке был свиреп.

В тот раз мы втроем ходили по лесу. Женька первый увидел гнездо.

— Смотрите, смотрите! — закричал он, от волнения глотая слова.

— Тихо, Муха!

Володька как обезьяна вскарабкался на дерево. Переложил птенцов из гнезда в старую кепку и осторожно, держа кепку в вытянутой руке, спустился вниз. Мы бросились к нему. Птенцы, маленькие и смешные, только что оперившиеся, попискивали жалобно и тонко. Володька взял одного, размахнулся и со всей силы бросил в дерево. Птенец безжизненным комочком свалился в траву. Женька подошел к нему, взял в ладони, хотел отогреть дыханием, но поздно: голова галечонка размозжена, глаза плотно закрылись полупрозрачными веками.

— Что, пожалел? — нехорошо рассмеялся Володька.— Эх ты, муха желторотая.

— Отпусти... — попросил Женька жалобно.

— Как бы не так!

Достав коробку спичек, Володька с четырех концов подпалил кургужую кулижку белоуса, который загорелся ярким, почти бездымным пламенем. В середину кулижки он бросил второго птенца. Тот, переваливаясь, двинулся в пламя, приняв за материнское безжалостное тепло огня. Когда пламя охватило молоденъкий пушок, я кинулся к нему, но от Володькиной затрешины отлетел в сторону и заплакал.

Покончив со вторым птенцом, Володька приказал:

— Ну вы, суслики, айда на реку! Этого топить будем.

Но доканчивать расправу ему пришлось одному. Мы сломя голову побежали к дому.

— Знаешь, — сказал Женька.— Давай никогда не обижать, кто сдачи дать не может.

— Давай.

— Никогда-никогда?

— Никогда.

* * *

Женька приехал домой из ремесленного училища: маленький, в форме, которая делала его и Женькой и в чем-то не Женькой.

Запорожец с затаенным интересом приглядывался к пасынку. Хоть и маленький, а окреп, раздался в плечах, на ногах стоит крепко, будто железный. Повздорили они на второй же день. Старик по старой памяти занес жилистую руку и...

— Не подходи. Зашибу.

Женька глядел исподлобья, говорил спокойно.

Немое изумление засветилось в глазах Запорожца. Так стояли они мгновение: высокий старик и коренастый подросток, чуть не вдвое ниже его. Отчим и пасынок. Старик тихо опустил руку и теперь уже — навсегда.

Вскоре Женька одержал еще одну победу. Поздним вечером возвращались из клуба. В сосновом бору посреди поселка, как всегда, сбилась в кружок молодежь. Появился и Володька Косой, слегка выпивший, дерзкий.

— А, Муха прилетела! Привет, Муха!

— Ну, повтори еще раз.

Что-то было в его голосе такое, от чего Володька попятился и оглянулся по сторонам.

— Строгий. Думаешь, не повторю?

— Повтори.

Я видел, как напрягся он весь, как собранно и прямо на Володьку смотрели его глаза.

— А иди ты... — выругался Володька и отошел.

* * *

Перебирая все это в памяти, я задумываюсь. Откуда у Женьки такой прочный жизненный стержень? Ведь по сию пору его уважают, идут к нему за советом, за помощью. Может, врожденное? Или Запорожец вбил тяжелым кулаком убеждение, что в жизни надо уметь защитить себя, чтобы научиться защищать других? Или голодное босоногое военное детство заставило повзросльеть раньше времени? Каким смешным и не подходящим сегодня к Женьке кажется детское легковесное прозвище — «Муха»...

ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Уши шапки спущены, воротник дряхлого пальто поднят и перетянут шарфом так, что на долю колючей метели остаются только нос да скулы. Погода нам на руку: проводники не открывают то и дело дверь тамбура, не проверяют, есть ли кто на подножке. Мы с Генкой бежим вдоль состава — вагон тоже надо выбирать с умом, а поезд стоит всего две минуты. Первый вагон — не для нас: там обычно едет ревизор. Пробегаем мимо мягкого и купейного, потому что проводники этих вагонов — люди строгие и церемониться не любят, того и гляди, схватишь штраф. Следующий вагон — общий. Здесь тоже не без оглядки, садиться надо не с той стороны, где впускают и выпускают пассажиров, а с противоположной, где дверь закрыта наглухо.

Гудок. Спотыкаясь о шпалы, хватаемся за поручни выдающихся вперед подножек. Стоять на подножке надо лицом к двери: так меньше бьет в лицо встречный ветер и не мешает мешок с картошкой, висящий за спиной.

— Поехали! — орет Генка.

— Тише ты!

Все быстрей и быстрей настукивают колеса. Слегка повернув голову, видишь, как мелькают мимо пригорки, елки-одиночки, густо обсыпанные белой крупой. Потом метель, повинувшись закону сложения скоростей, усиливается: все кругом тонет в снежной пыли. Двадцать минут идет поезд до райцентра, а ветер успевает пробрать до костей, коченеют руки и ноги. Осторожно, чтобы не вылез из-под воротника и шапки ни один миллиметр пригревшегося лица, поворачиваю голову. Генка стоит, вытянувшись, как часовой. Даже мешок за спиной не делает его сутулым. Видно, как он шевелит пухлыми, посиневшими губами и вздергивает нос. Догадываюсь, что снег залепил стекла очков, Генка ничего не видит и от этого злится.

На стрелках вагон качается, как пьяный: вот-вот опрокинется. Наконец поезд втягивается в узкий лабиринт товарных составов, останавливается. Пригнувшись, задевая мешками за тормозные трубы, пролезаем под составами. Стороной обходим полного безбрового милиционера с крупными осцинами на лице. Прошмыгнув мимо, облегченно вздыхаем: здесь начинается наша территория. На ходу потерянное тепло возвращается сторицей: лицо горит, а рукам даже жарко в толстых стеганых рукавицах. У меня в кармане две новенькие десятирублевки, целое состояние: на них можно купить десять буханок хлеба. Если бы ехать нормально, в вагоне и с билетом, в моем состоянии была бы пробита непоправимая брешь. А ведь мне надо растянуть его на целую неделю.

В самом конце длинной улицы стоит мрачный деревянный дом в два этажа. Мрачен он только снаружи из-за своих маленьких подслеповатых окон да крутой четырехскатной крыши. Тут мы и живем вместе с полусотней других «гавриков», как говорит Генка. Высокие и низкорослые, тупые и умницы, задиры и тихони со всего района, те, кого родители решили «учить дальше», в десятилетке, единственной в наших лесных местах.

Комната встречает спертым и кислым до одурения воздухом и криком:

— Аристократы приехали!

Кричит, конечно, Колька Валунов. Аристократами он зовет нас потому, что мы с Генкой — единственные, кто может ездить домой на каждое воскресенье, да еще на поезде. Остальным одноклассникам приходится ходить в свои деревни пешком или трястись на попутных машинах. А такие, как Валька Шумов, живут в интернате всю зиму: до дому девяносто верст с гаком.

Все, кроме Кольки, который зубрил химию и бросил ее на кровать при нашем появлении, еще спят. Разбуженные криком и топотом обледенелых валенок, одни недовольно приподнимают головы, другие сразу вскакивают, а через минуту начинается обычная утренняя кутерьма.

— Черти, поспать не дают!

— Эй, аристократы, поделитесь задачей по тригонометрии!

— Кто штаны уволок? Люди!

— «Вставай, проклятьем заклейменный...»

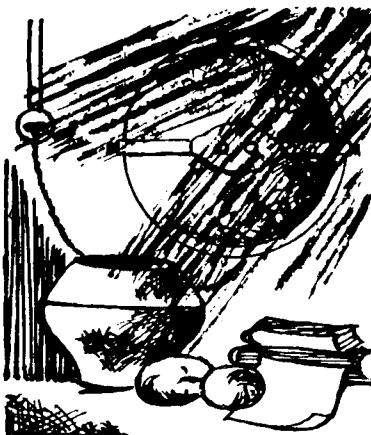
Захлопала дверь, загремел в кухне умывальник. Ребята снимают с теплой плиты сваренную вечером картошку и вскоре сколоченный из досок стол заполняется чугунками и кастрюлями. У каждого своя провизия, каждый — сам себе повар. Мы с Генкой завтра тоже поставим свои чугунки на стол, а сегодня успели позавтракать дома и потому сидим на койках, уткнувшись носами в учебники.

— Тихо!!

Панкрат Матросов вскакивает из-за стола и прижимает ухо к еле журчащему репродуктору. На мгновение наступает настороженная тишина.

— Ну, дождался Панкрат снижения цен! — говорит Колька Валунов.

Смеемся.



Панкрат оборачивается к нему с искаженным лицом:

— Замри, «снижение»! Сталину стало хуже!

— Включи! Громче!!!

Панкрат нетерпеливо крутит регулятор, но звук остается прежним.

— Кончили уже. Бюллетень передавали. Состояние тяжелое.

— Вылечат! — неуверенно говорит Генка.

— Должны, — подхватывает Валька Шумов.

— Кто знает. Возраст у него все-таки, — задумчиво роняет Панкрат, возвращаясь к столу.

— Как же мы без него-то... будем? — испуганно спрашивает вдруг Рашка Фокин.

— Да...

...В школу уходим все вместе, в половине девятого, покрикивая на тех, кто долго копается. На этот раз не можем дождаться Вальки Шумова.

— Ну чего ты там?

— Штаны, что ли, забыл надеть?

Все улыбаются, но Валька не хохочет оглушительно, как обычно. Продолжая перерывать постель, говорит глухо:

— Перчатки пропали...

Замираем на своих местах. Валькины перчатки из черной кожи с заячьим мехом внутри — предмет общей гордости. Наши стеганые рукавицы не стоят одного пальца Валькиных перчаток. И все-таки воров в комнате нет, мы знаем.

— Ищи!

— На полке посмотри!

— В карманах-то нет?

Начинают искать все. Я тоже перерываю свою тумбочку, полку, заглядываю под кровать. Вижу, как недоуменно прикушена толстая губа у Генки, глаза растерянно шарят по комнате, в руках он зачем-то держит подушку.

— Где «художник»? — настороженно спрашивает вдруг Рашка.

В самом деле, только теперь до меня доходит, что «художника» в комнате нет. Единственный в нашей комнате парень из параллельного десятого класса, Вовка Поджаров, носит свое прозвище за то, что делает копии с картин и продает их. Пишет он и плакаты, и лозунги, но даже для школы ничего не делает бесплатно. У него мягкие движения и такое же мягкое, обтекаемое лицо. Коричневые глаза его были бы красивы, если бы постоянно не юлили по сторонам. Впрочем, он иногда подолгу, не мигая, может смотреть на человека, но как-то неестественно, напряженно. Питается он в столовых. Но не он же...

— Пошли! Найдутся! — резко обрубает Панкрат, и мы, не глядя друг на друга, вываливаемся за дверь.

Метель разыгралась еще сильнее. Ветер тоненько взвизгивает, над крышами то и дело взметываются легкие покрываала снежной пыли. Дорога во многих местах обнажилась от свежего снега, видны наезженные до блеска колеи, а в них — вмерзший, размазанный конский помет. Обгоняя друг друга, бегут юркие белые змейки. Добежит такая змейка до сугроба, что улегся поперек дороги, и замрет, обессилев. Пропадом вор, сперший Валькины перчатки. Вон как сутулился, руки в карманах, лицо обиженнное. Рашка Фокин рядом с ним на голову ниже. Все вертится, порывается сказать что-то и не выдерживает:

— «Художника» тряхнуть надо!

— А ты откуда знаешь? — набрасывается на него Генка, заслоняя рукой очки от снега.

— Откуда, откуда! Ничего я не знаю. А откуда у Володьки коньки с ботинками? Думаешь, подарили?

— Иди ты знаешь куда?

— Хватит вам! — снова обрывает Панкрат. — Сказано, разберемся.

Наш комсорг Генка покорно умолкает и молчит до самой школы.

...Михаил Трифонович Петренко, высокий, весь седой, проницательно оглядывает класс, и от этого взгляда у меня начинает ныть под ложечкой. Как-то сразу я вспоминаю, что Петренко давно не спрашивал меня по астрономии, а сегодня, после своей поездки на выходной, я беззащитен, как цыпленок. Лихорадочно листаю учебник. Параллакс. Темный лес. Что-то такое, связанное с землей и луной сразу. Но вот минутная отсрочка. В дверь, крадучись, входит Женяка Телегин. Живет рядом со школой, а каждый раз умудряется опоздать. Трифонович вскидывает на него насмешливые глаза, тянет с украинским акцентом:

— Птичка божия не знает ни заботы, ни труда...

Под общий хохот Женяка, покрасневший до ушей, шмыгает на свое место.

— Соболев, к доске.

Ноги наливаются холодом. Не успел. Обреченно закрываю учебник, иду отвечать. Рисую схему, украдкой поглядывая на класс. И вдруг...

Что такое? Петренко сидит, откинувшись на стуле, тяжелая седая голова устало клонится на грудь, глаза закрыты. Спит. Ясное дело — спит! Осмелев, я довольно бойко выкладывают все, что знаю о Луне. Потом, сделав паузу, говорю что-то о Земле. Наконец умолкаю, победоносно подмигнув Генке.

— Все у тебя, Соболев?

— Все.

— Садись. Два.

По классу прокатывается смешок. Спорить бесполезно. Став-

рик прав, как всегда. Ладно, выучу. Рассеянно слушаю новый материал. Закончив урок, Петренко достает портсигар, раскрывает, взглядом приглашает меня взять папиросу. Смысл этого взгляда всем понятен: Петренко не может забыть, как застал меня с папиросой в уборной. Девчонки нагло улыбаются, а я смущенно прячу глаза, потому что и сейчас у меня в кармане пачка. После звонка почти все ребята бегут в уборную — курить. От табачного дыма не так хочется есть, не чувствуешь себя все время полуоголодным. К концу перемены уборная наполняется густым синим дымом, который нехотя выползает на мороз в открытую форточку. С собой в класс мы приносим крепкий табачный дух.

Следующий урок у нас русский — «наше горе». В класс не входит, а вбегает сухопарая желчная Нина Игнатьевна. За месяц, что замещает ушедшую в декрет учительницу, она успела нам надоест хуже горькой редьки. Бросает на стол свой портфель, журнал, нудно придирается к дежурной из-за разбросанных на полу бумажек. Сквозь зубы цедит:

— Всю душу вы мне вывернули!

Отвечать идет Нина Воропанова, застенчивая девушка с длинной русой косой. Игнатьевна ответа не слушает, но не так, как Петренко. Наоборот, делает вид, что слушает, а сама настороженно злыми глазами водит по классу, изредка бросая через плечо Нине:

— Разбери пример.

— Ты так думаешь?

— Ну и что же?

После каждой реплики Нина испуганно вздрагивает, мнет в руках тряпку, путается. Голос ее начинает дрожать.

— Не тронь моих вещей! — несется по классу истощенный визг.

Привстаем с парт, вытягиваем шеи. Виной всему Колька Балунов за первой партой, у стола. Минут десять привлекала его книга в яркой цветной обложке, лежавшая на учительском столе. Наконец Колька не выдержал, попытался повернуть ее корешком к себе, чтобы прочесть название, чем и вызвал ярость Игнатьевны.

— В угол!

— А что я такого сделал?

— Не разговаривать! В угол!

— Не кричите. Вы не в начальной школе.

Ого, вот это уколол! У Игнатьевны нет специального образования, она много лет преподавала в начальной школе и лишь по недостатку учителей попала к нам.

— Выходи из класса!

— Я ни в чем не провинился.

— Может, мне уйти?

— Дело ваше.

Колька весь белый. Вот-вот взорвется. К счастью, Игнатьевна забирает в охапку свои вещи и пулей вылетает из класса.

— Скатертью дорожка! — пускает вдогонку Колька.

Все вскакивают, шумят:

— Да что она нас, за людей не считает?

— Гнать надо таких педагогов.

— Нина, давай дальше!

— Пятерку заработаешь!

— Тихо, черти! — утихомиривает класс Генка.— Говори, Панкрат.

— Терпеть больше нечего,— вполголоса начал Панкрат.— Надо добиваться, чтобы ее от нас убрали. Только без партизанщины, не поодиночке, а всем. Давайте вот на литературе объявим бойкот. Не будем отвечать — и все. И на следующих уроках не будем. Сама уйдет.

— Верно, Панкрат!

— Идея!

— У Панкрашки не голова, а Дом Советов!

— Нет, не верно! — звенит тонкий голосок Тамары Туркиной, старосты класса.— Бойкот — это и есть партизанщина! Надо просто сходить к директору и попросить...

— Нечего просить!

— Мы не нищие!

Голосуем за бойкот. На химии сидим взвинченные, рассеченные, недовольно выслушиваем выговор за сорванный урок от химички — она наш классный руководитель. Знала бы она, что еще будет! На большой перемене готовимся к литературе, как к бою.

Игнатьевна входит с багровыми пятнами на щеках, глаза настороженные. Не глядя на развалившегося в небрежной позе Кольку, напряженно выговаривает:

— Продолжим. Отрывок из поэмы «Во весь голос». Читай, Флегмантов.

Замираем. Генка — комсорг. Генке трудно. Я гляжу на его прямую фигуру и понимаю, какая борьба идет в его душе. Проходит минута оцепенелого молчания.

— В чем дело? Не выучил? Может, нянечку к тебе приставить? Гувернанточку? — в голосе Игнатьевны вновь звучат истерические нотки.

— Урок я знаю,— тихо говорит Генка,— только вам отвечать не буду.

По классу проносится вздох облегчения.

— Выйди сию же минуту за дверь! Вон!!

У Генки не хватает мужества для дальнейшей борьбы. Молча, опустив голову, он выходит.

— Отрывок прочитает Ожегова.

Чистюлька Тамара Ожегова вскакивает и скороговоркой бормочет:

— Нина Игнатьевна, мы не будем вам отвечать, потому что мы так решили... ну, вы с нами плохо обращаетесь, и, в общем, я не буду!

Она быстро садится и прячет лицо в ладони, чтобы не видно было внезапно брызнувших слез.

— Кто будет отвечать? Никто. Что ж, с дикарями надо разговаривать иначе.

Игнатьевна дрожащими руками собирает книги и второй раз в этот день идет к двери, не закончив урока. У дверей на секунду останавливается, угрожающе бросает:

— Вы ответите за это, имейте в виду.

Вскоре Генку и Туркину вызывают к директору. Приходят они мрачные, объявляют:

— Завтра комсомольское собрание. Директор будет. Покажут нам бойкот!

Петренко на тригонометрию приходит почему-то веселый, заговорщицки подмигивает нам. И на душе становится легче.

По дороге к дому все еще выкладываем свои обиды.

— Да правильно сделали! — горячится Валька Шумов.— Игнатьевна только орать умеет, а начнет рассказывать, не поймешь, что к чему.

— Понять-то можно,— перебивает Генка,— да ведь так примитивно нельзя говорить. Все у нее просто, как в сказке. Ранний Маяковский писал плохо, после революции научился; поэма «Владимир Ильич Ленин» — его лучшее произведение, а если бы не застрелился, еще бы чего-нибудь написал... Скука!

— Как деткам!

— Она думает, что только у нее нервы, а мы все — дураки от природы. Ей бы волю, так и палкой бы стала бить,— зло вставил Колька.

— Дураки! Неучи! Когда я от вас избавлюсь! — визгливо передразнивает Игнатьевну Рашка.

— Вот и надо завтра все сказать на собрании...

...«Художник» стоит посреди комнаты. Около него Панкрат тяжело опирается на спинку стула. У Генки подрагивают толстые губы, глаза из-под очков смотрят зло. Мы с Рашкой позади Вальки Шумова, который размахивает своими перчатками перед Володькиным носом:

— Ты что, ворюга?

— Не брал я...— бормочет «художник», и его красивые коричневые глаза шарят под койками.

Перчатки спер все-таки Володька. Нашел их Панкрат, когда рывком приподнял матрац «художника». Там они и лежали, на самой середине сетки, покрывшись рубчиками от металлических колец.

— Ты что думаешь? — гремит Валька.— Так тебе и спустим?

- Не брал я... — гнусит Володька.
- Темную!

Валька бьет «художника» перчатками по лицу. Колька Балунов подходит сзади с одеялом в руках.

- Не буду я, ребята! Простите!

В дверь стучат. Все бросаются врасыпную. В комнате нездоровая тишина, нарушаемая только всхлипываниями Володьки.

Входит Анна Павловна, воспитатель, испуганная невысокая женщина.

- Здравствуйте.

- Здравствуйте, — вразброд отзываемся мы.

— Что с тобой, Поджаров? — спрашивает она, увидев уткнувшегося в подушку «художника».

Он молчит, продолжая сопеть.

- Что случилось, я спрашиваю? Матросов, в чем дело?

- У него спросите, — грубо кидает Панкрат.

- Ничего, Анна Павловна, голова болит.

— В больницу надо сходить, — наставительно говорит Анна Павловна.

— Творческая болезнь у него, — поясняет Колька Балунов. — Глаза не ведают, что руки делают.

Валька Шумов оглушительно хохочет. Анна Павловна испуганно оглядывается и направляется к двери. На пороге останавливается, сухо роняет:

- Садитесь заниматься.

Едва захлопывается дверь, как Панкрат снова подходит к Володьке, берет его за плечо:

— Ну запомни. Мы — не Анна Павловна, прощенья не заставим просить. Только знай: ворам да барышникам жизни от нас не будет. И пощады не будет. Еще раз заметим, морду на затылок перевернем.

- Красивая больно, портить жалко, — подкидывает Колька.

— Вот ведь. Живет человек, учится. Книги читает, — говорит Генка, вроде ни к кому не обращаясь. — Образ Данко учит. А в душе — самая что ни на есть дрянь. И как это получается, убей, не пойму.

— А ты слыхал, как он отрывок из «Данко» учил? — перебивает Колька Балунов и высокопарно читает:

— «Тогда он разорвал руками себе грудь, но... сердца там не оказалось»...

Все смеются.

Володька вдруг вскакивает, кричит почему-то Панкрату:

— А ты знаешь, как я живу? Знаешь, да? У тебя отец в лесопункте зашибает, а моя мать по три месяца в колхозе ни хрена не получает! Ей шестьдесят скоро — какая от нее помощь? Что я сам зарабатываю, так это вам не нравится, да?

- Дурак ты, а не лечишься, — спокойно отвечает Панк-

рат.— Воруешь-то зачем? Да и зарабатываешь ты не по совести. Ты бы поработал, как вон Валька с Олегом, когда они вагон цемента выгрузили, день в школу не ходили. По девяносто рублей принесли. Кто их упрекнет, если честные, трудовые? А ты — халтурщик до мозга костей, хоть и «художник».

Верно. Ох и досталось же нам с Валькой на том вагоне! Я смотрю на свои руки — три кровавые мозоли, натертые рукояткой лопаты, еще не сошли с ладоней. Да и в горле до сих пор першил от цементной пыли.

Сгущаются сумерки, и комната озаряется яркими бликами от растопленной печи. Когда Рашка, сидящий на корточках у печи, поднимается, громадная тень быстро мечется по комнате. Пора мыть картошку и ставить чугунки на плиту.

Ночью я долго не могу уснуть и оттого утром поднимаюсь позже всех. Что это? Не слышно привычного гомона и шуток. Колька Валунов подавленно перебирает книги на полке. Генка неподвижно сидит на кровати, положив на колени тяжелые кулаки. Грузными шагами меряет комнату Валька Шумов. Рашка, уже одетый, лежит, уткнувшись лицом в подушку. Панкрат неподвижно стоит у окна, заложив руки за спину, и мне видно, как по его суровому лицу текут слезы. Он слегка поворачивает ко мне голову, говорит прерывистым шепотом:

— Сталин... умер.

Будто камень повесил на шею.

Какие были мы еще дети, со всей нашей взрослостью! Сколько лет, сколько зим минует, сколько узнать и понять придется, чтобы повзросльть не сердцем только, но и умом...

ВЫСТРЕЛЫ

1

Петъка-Гангстер угнездился на валежине, зажав меж колен «мелкашку». Груzzo и прямо выселились над ним сосны, краснея луковичной корой. Редкие комары с тихим писком кружились ниже колен, там, где штаны намокли от росной травы.

«И жара не берет, пропасти на вас нет!» — подумал Петъка, осторожно придавив ладонью комара, залетевшего на колено. Впрочем, здесь, внизу, жара не донимала. Солнце палило где-то высоко, путалось в густых сосновых шапках, и лишь немногие блики играли на рослых кочках, подсвечивая влажный черничник. Стояла долгая, нерушимая тишина.

Петъка знал, что тишина обманчива. Помнил, как вздрогнул вчера и зашумел, показалось, весь бор, когда чуть не под ногами затрещала крылицами глухая тетёра. Озноб прокатился от макушки до пяток. Еще бы: пробирался молчком,

торопился, озирался, сторожился, чтобы на прутик какой не наступить, а тут — ровно обвал. Добро, что тетера. А ну бы — хозяин черники, которую Петька только-только к рукам прибрал? Черт его знает, чья там стояла на тропке корзина, из которой ягоды пересыпал. Может, девчоночья, а может, и мужик какой оставил без присмотра. В таком разе ждать нечего, бери ноги в зубы да ходу!

«Ладно! — злобясь на птицу, мстительно думал Петька.— Вчера ты меня, сегодня я тебя попугаю! Еще как попугаю: всажу пульку от крыла до крыла!»

Он погладил тоненький ствол винтовки. Главное, все как ловко сошлось-то. Отец, будто нарочно, в район на два дня уехал и знать ничего не узнает. Эх и люба винтовочка! Выстрел легонький, с двадцати шагов не услышишь, вроде как сучок треснет, зато любого зверюгу пробьет насеквозд. Только бы на егеря не нарваться, и так давно на Сакиных косится.

В избе у Петьки егерь бывал один-единственный раз, да и то не по-доброму. Шапку не снял, присел на стул в прихожей.

— Слух идет, Константин Андреевич, вооружился ты? — с подковыркой спросил у отца.— Показал бы обновку.

Отец — что, отец не скрывался. Принес «мелкашку» из кладовки, да еще и похвастал:

— Хорошая вещь, пристрелянная. На пятьдесят метров в пятакочок попаду.

— Оно так. Непонятно, к чему она тебе?

— Ну-у, братец ты мой! — протянул отец.— Во-первых, винтовка не моя личная, а, так сказать, достояние сельпо. Для коллектива куплена. Невелика контора — сельпо, а и в ней массовую работу вести надо, поскольку я есть руководитель. Кружок, скажем, стрелковый, чем плохо!

— Не смешил бы ты меня, председатель! Настя с Любой у тебя очки выбивать станут? Или, к примеру, бухгалтерша? Она и цифирь-то через очки разглядывает. Стрелкй...

— Научим, братец ты мой, научим! Зато подумай, в отчете напишем: действует-де в Рамене стрелковый кружок. Да с нас во всем районе пример станут брать!

Егерь стащил шапку с сивой головы, поглядел на отца. Потом встал со стула.

— Ежели пример станут брать, то конечно. Только ведь ты, председатель, не на младенца напал. В лес с этой пушкалкой не суйся, зверье не калечь. А встречу — на себя пеняй.

Тут-то отец и взвился:

— Ты, Иваныч, мне не грози! Для лесу у меня, сам знаешь, ружье имеется и охотничий билет в полном ажуре. Насчет винтовки все тебе разъяснено, храню на законном основании. Хотя учи, мог бы и не объяснять, отчет тебе давать не

обязан. А по старой дружбе вот что я тебе скажу, Иваныч. Не дичился бы ты нас, охотников. Поближе бы к нам, а? Иной раз ошибка, засечка у мужика. Простить бы, свои люди. А ты его — под акт! Под суд! Не дело это, братец ты мой. В жизни все надо уметь. Уметь и глаза закрыть в иную пору. Добрые люди в долг не останутся...

— Эх, Андреич, двойная душа! — сказал тогда егерь и дверью хлопнул.

Отец долго ему вслед разорялся, пока Петья под руку не подвернулся.

— Гляди у меня! — пригрозил отец.— Близко к винтовке не подходи! Я этого олуха царя небесного куплю, продам и снова куплю, а тебя застукает — крышка оружию! Доказывай потом, что ты не верблюд! Понял?

— Понял.

— Чего понял-то?

— Что я не верблюд.

— У-у, шушера!

Переложив на коленях «мелкашку», Петья расплылся в улыбке. «Хитер ты, батя, да и я не лыком шит. Только бы прилетела тетера. Поди, ведь не прилетит!»

Солнце передвинулось вправо и высветило небольшую прогалину, у края которой томился Петья. От недвижного сидения затекли ноги, устала спина. Хотелось есть. А на прогалине по-прежнему было тихо и пусто, только поднималось между стволов марево от сохнущего мха.

«Да что она, дура, что ли! — обреченно махнул рукой Петья.— Сама под пулю пойдет? Держи карман шире!»

Дробный треск за спиной расколол глубокую тишину. Лицо Петьки исказилось, он вскочил, вскидывая винтовку. Острый страх сменился злобой на раскрашенного, как елочная игрушка, дятла. Упервшись хвостом в ствол засохшей сосны, тот насторожился было, а потом еще веселее выдал звонкую барабанную дробь.

Удерживая дыхание, Петья прицелился. Дятел сидел совсем близко, и пуля оторвала ему голову. Красный безжизненный комочек шмякнулся в густой черничник. Петья побежал, поднял безголовую птицу за крыло и брезгливо отбросил в сторону. Потом, воровато оглядываясь, замотал «мелкашку» в старый мешок, плавной, кошачьей походкой двинулся к тропинке. Вскоре он вынырнул на нее из-под тусклого навеса ветвей, зашагал смелее.

«Вот кабы с «мелкашкой» можно было в открытуюходить! — пронеслось в голове.— И стрелять в открытую, кого хочешь! И чтобы ничего за это не было. Первым делом трахнул бы Кольку Кулика. Больно задается, гад. Форсит больно силой своей».

Позавчера Колька Куликов встретил его у моста через

Ковровку. Нахально загородил дорогу, руки в карманы сунул.

— Все шляешься, Гангстер? Чужие жерлицы ищешь?

— Пошел ты... — сплюнул Петьяка, но в драку не полез — кулаки у Кольки железные. Конечно, снял у него Петьяка жерлицу из-под ивового куста, да ведь свидетелей нет — пойди докажи. Была бы тогда с ним «мелкашечка», небось струсил бы Кулик. Ясно, струсил бы, засучил бы своими спортивными ногами по-другому...

Ну, Колька еще ничего. Шаражнуть раз для острястки, для памяти — живи! Зато уж зоотехника этого, Мокрецова, — ух бы как!

Вражда у них с того самого утра, когда зоотехник застукал Петьюку опять же на жерлице. Надо угадать в одно время к этой щуке! Свои жерлицы у Петьки пустые болтались, а тут — чужая, да с добычей, как устоишь? Людей не видно, рано еще, только-только солнышко встало, туман кругом, роса, холод...

Щука сидела на крючке — будь здоров, килограмма на три, пожалуй. Только из воды ее выволок, стал тройник выдирать, а за спиной голос:

— Это что же здесь за гангстер?

Петьюка с испугу щуку уронил в воду и подумал, что шурранет его сейчас Мокрецов за той щукой следом. А зоотехник руки за спину, стоит на обрыве да приговаривает:

— Как мыслишь, Петьюка, имеет ли воровство право на существование? Что там толкует у нас моральный кодекс? Или вы его еще не проходили? А твой отец давно его прошел, превзошел и забыл? Напомнить ему? Или не надо, как соображаешь?

Петьюка, никогда себе не простит, расклелся, слезу пустил.

— Не надо, Николай Михайлович, не буду больше... Поглядеть только хотел...

— Любознательный мальчик. Любит природу. Хотел узнать, сколько зубов у щуки. В другой раз, Петьюка, когда глядеть станешь, крючков не вынимай. Потому что я — тоже любопытный. Ну дуй домой... гангстер!

Обошлось все, да кличку прилепил. Раз вечером у клуба столкнулись. Мокрецов Петьюку пятерней за плечо:

— Как дела, гангстер?

Ребятня прямо со смеху покатилась. С той поры и дразнят. Дерись не дерись, без толку. Нет, на Мокрецова не дрогнула бы рука...

Впереди в просвете ветвей забелела дорога. Уже выходя на обочину, Петьюка резво отпрянул в кусты. На макушке бугра, за которым пряталось Раменье, стоял «газик», залитый солнцем.

«Вот уж правду говорят, легок на помине!» — изумился Петьюка. Там, где бугор крутым обрывом сваливался в Ковровку,

сидел Мокрецов с какой-то девчонкой. Ездил, видно, на колхозной машине да вылез отдохнуть, поразмяться.

Прицелиться бы сейчас: пальнешь, никто и не узнает. Да нет, узнают. На все Раменье одна «мелкашка», сразу раскусят. Ну зато и попугаю я тебя сейчас, попомнишь «гангстера»!

Петьяка сел на землю, размотал мешок, осторожно вынул и зарядил винтовку. Приложил приклад к плечу, уперся локтем левой руки в колено и медленно навел мушку на заднее колесо машины. Сухо щелкнул выстрел, и в тот же момент на дороге грохнуло снарядным разрывом.

Подхватив мешок, Петьяка опрометью бросился в чащу. Бежал долго, спотыкаясь и увертываясь от колючих веток. Кровь со звоном била в голову, дыхание запалилось. Перед глазами солнечно блеснули болотные лужи. Он круто повернулся влево и в изнеможении повалился на мох, откинув в сторону «мелкашку»...

2

Все утро Колька Куликов искал попутчика на рыбалку. В маленьком скособоченном домишке Костровых он застал только бабку Тюриху. Бабка весело зыркнула на Кольку не по-старушечьи большими глазами и сказала, что Валька с матерью ушел на покос, благо колхоз откосился, а жнитво пока не приспело. И что она, бабка Тюриха, как последняя затычка в Раменье: кому недосуг, тот и зовет, а она, дура старая, отказать не может, даром что в своем огородишке не прибрано.

Бабка долго еще причитала бы, но Колька тихонько попятился к дверям, шмыгнул во двор. Перемахнул через огород в проулок и побежал к свежему, рубленному недавно крыльцу Бирюковых. Витька лежал на кровати с книгой. Ногой, продетой в веревочную петлю, он покачивал люльку. У стола колдовала над игрушками трехлетняя Надька. Увидев Кольку, она проворно поднялась на ноги и засеменила к брату.

— Че киснешь-то? Айда рыбалить!

— А-э-э-э!

Витька со злостью толкнул люльку пяткой, скинул веревку, сел.

— Не видишь, запрягли. Отец силосует, мамка на льнище уплыла, подкармливать там чего-то или опрыскивать. Не сидится. Как же — «лучшая льноводка района»! А тут страдай... в нянках. Тюрьма, одно слово.

— Тюрьма. А я за тот поворот хотел, знаешь?

— Может, в домино врежем? — с надеждой спросил Витька. — Кино скоро будет по телику...



— Да ну его в болото, твое кино. Погода такая! Пошел я тогда.

Колька показал Надьке «козу», она растянула в улыбке рот от уха до уха. Стараясь не смотреть в расстроенные Витькины глаза, вынырнул из душной избы. К Илюшке забежать? Не больно с ним весело, как девчонка, да что делать...

Дом Телицыных, приземистый и широкий, стоял напротив. Колька распахнул калитку, торопливо дошел до крыльца и разочарованно свистнул: в скобе торчала суковатая палка. Для очистки совести обогнул дом и в огороде увидел Илюшку. Маленький, не по-деревенски хрупкий Илюша старательно очищивал картошку.

— Привет!

Илюша выпрямился, смахнул рукавом пот со лба, шмыгнулся.

— Ковыряешься, ковыряешься... Мичурин. Пошли?

— Да велели, понимаешь, окучить...

— Много?

— Грязь вот осталась.

— Неси тяпку. Сделаем да и — ходу!

— Давай, коли охота.

Взяли по десять рядков, на соревнование. Колька греб землю, не разгибаясь, яростно бил комья, крушил подвернувшуюся ботву. А когда дошел до края последнего рядка и оглянулся — Илюша сидел на корточках, не сделав и половины.

— Так ты чего? — обиделся Колька.

— Иди-ка сюда!



На земле перед Илюшкой ничего не было, но он продолжал пристально вглядываться в почву.

— Глянь, жучок.

— Ну жучок.

— Беспокоится, понимаешь.

Норка тут у него, а я землю рядом пошевелил. Ведь это для него — вроде землетрясения! Все, думает, конец света!

— Блаженный ты, Илюшка. Ну зачем тебе сдался какой-то жучок? Стукни его тяпкой, и вся недолга.

— Ты что? — Илюша поднял встревоженные серые глаза. — Живого-то — тяпкой? А если тебя... тяпкой?

— Уж не ты ли? — презрительно протянул Колька.

— Не я, нет,— заторопился отчего-то Илюша.— Большой кто-то, больше тебя в миллион раз, которому ты ничего, совсем ничего сделать не можешь, возьмет и раздавит тебя одним пальцем...

— Про бога, что ли, толкуешь?

— Да ну, какой бог! Я вообще...

— А вообще или ты давай окучивай, или я сматываюсь.

Некогда мне разглядывать всяких твоих... букашек.

Илюшка выпрямился, взялся за тяпку, однако норку жука рушить не стал. Работу закончили молча, начали собираться, Колька не выдержал, съязвил:

— Ловить на хлеб будешь? Червяку-то ведь больно, когда его на крючок надевают...

Вскоре они шагали травянистым берегом Ковровки, обгоняя ее неторопливое течение. Странную они представляли пару: тоненький белоголовый Илюша едва доставал до плеча длинно-мугостяльному Кулику, плечи которого уже наливались недюжинной силой. Илюша неторопливо рассказывал чистым девичьим голосом:

— Вчера у Нинки Осокиной ягоды кто-то в лесу украл. В деревню пришла вся уреванная. Говорят, полную корзину черники насобирала, все выгребли.

— Отняли, что ли?

— Нет... Корзину она на тропке оставила, а тут хороший кустик подвернулся. Подошла к нему с набирушкой, сам знаешь: ягода за ягодой, кустик за кустиком... Воротилась обратно, а и корзина на боку.

— Думаешь, наши?

— Кто его знает...

— Стой, стой, стой! Ну, елки-палки! Я ведь Сакина вчера видел — целую корзинищу ягод прет. Еще подумал: ай да Сакин, как не переломился только. Он это дело и спроворил, точно, он!

— Навряд ли. Не любишь ты его. Мне все кажется, что он не такой.

— Ну ты даешь! Мало он, видно, тебя колотил.

Илюша затих. Тропинкой, проложенной рыбаками в густом ивняке, спустились к высохшему, но все еще влажному руслу ручья, поднялись на взлобок. Кусты расступились, открыв широкую прибрежную луговину. Ребята приблизились к тихому омуту. С удочкой Колька здесь не бывал, хотя налегке приходилось ходить мимо в сенокосную пору, и всегда легонько екало сердце: вот бы где...

Молча размотали удочки, забросили. Говорить не хотелось. Илюша лег на отлогий берег. Закинув руки за голову, он смотрел в небо, где высокое солнце уже с усталостью подсвечивало ватные кучевые облака. Колька, упервшись локтями в

колени, упрямо вперился в одну точку — в поплавок. Клева не было. Он с беспричинным ожесточением покосился на Илюшу.

— Спиши, что ли?

— Нет. Думаю.

— И чего придумал?

— Думаю, до чего много всякой красоты на земле! — Илюша взмахнул руками, сел. — Вот ты над жуком посмеялся. А ведь и в нем — красота. И в травах на лугу, и в лесу, и — гляди вон — на небе. Откуда же злоба среди людей берется? Почему завидуют друг другу, сплетничают, дерутся, пьют?

— Ну... — Колька пожал широкими плечами. — Борьба за существование. Дарвин.

— Какой там Дарвин! Борьба за существование... Это, к примеру, волк и заяц. Там все ясно-понятно. А разве заяц обижает другого зайца?

— Еще как! Дай двум зайцам одну морковку — сразу передерутся.

— Эх, не то я все говорю! Ладно, животные они. А люди? Ну скажи: ты свою мать любишь?

— Кто же свою мать не любит?

— Верно. И я люблю, и Нинка Осокина, и Петька Сакин, наверно. Для всех для нас матери — хорошие. Тогда почему между бабами столько спору да ругани, если каждая по отдельности хорошая? Почему?

— Да брось ты эту тягомотину. Без тебя разберутся.

— Понять хочу...

Колька стремительно сорвался с места, схватил удилище. Поплавок косо уходил в сторону, постепенно погружаясь. Выждав момент, Кулик резко подсек и потянул к себе рыбу. Она не давалась, не шла, жилка косо резала воду, удилище согнулось дугой. Охваченный рыбациким азартом, Илюша спустился к самой кромке воды, нетерпеливо топтался, следя за движениями рыбы в омутном сумраке.

— Хватай! — сдавленно крикнул Колька, подтягивая добычу к берегу.

Илюша нагнулся, молниеносно ухватил рыбу за жабры, бегом понес от реки.

— Щука! — с радостным изумлением крикнул он.

— Ты гляди, верно, щука! — удивился Колька. — А болтали, что щука на удочку не берет. Вот тебе и не берет!

Илюша бросил рыбину в траву. Она подпрыгнула, широко расправляя все плавники, и на миг показалась ребятам маленькой остроносой ракетой.

Снова закинули удочки. Колька отмотал кусок жилки, к одному концу привязал рогульку, протянул другой через щучьи жабры и зацепил его за ветку ивы. Потом осторожно

пустил рыбину в воду. Щука лежала вверх брюхом, чуть заметно поводя жабрами.

— Отживется! — махнул рукой Куликов. — А не отпусти — по такой жаре враз завянет, протухнет.

— Надо же, щука на удочку взяла! — снова удивился Илюша.

— Потому и не клюет в этой яме — щучья семья живет. Давай посидим, может, еще какая соблазнится. Только тихо — они к шуму чуткие — страсть!

Теперь уже оба улеглись на траву, думая каждый о своем. А через четверть часа только чуть слышное посапывание выдавало, что есть у омута живые люди...

3

Первым проснулся Колька. Осторожно, пошатываясь со сна, он подошел к воде, проверил удочки. Наживку никто не тронул. Куликов разочарованно вздохнул и стал сматывать удочку.

— Телицын! Вставай, щуку проспиши!

Илюша приподнялся, непонимающе озираясь вокруг.

— Пошли ближе к дому. Никакой тут рыбы нету.

— Пошли, — охотно согласился Илюша. — Пряником?

— Ясно, пряником, все поближе.

В лесу ребята знали каждую тропку. Они без опаски пробирались мшистым редколесьем, следя только, чтобы солнце светило в затылок, да оберегая удочки от коварных сучков, норовивших вцепиться в жилки. Колька нес еще трепыхавшуюся щуку.

Впереди за деревьями мелькнула чья-то фигура. Человек бросился было бежать, потом остановился, прислонясь к стволу сосны, стал дожидаться.

— Глянь, Гангстер! — с неприязнью сказал Колька. — И чего он все по лесу шастает?

— Мало ли, может, за ягодами.

— Разве что за чужими. Привет, Гангстер!

— Привет, Кулик!

— Чего с мешком-то ходишь?

— А тебе какое дело?

— Интересуюсь, не в мешок ли чужие ягоды складываешь.

— А ты видел, да? Видел? Ты докажи!

— И так знаю.

— Вот я тебе сейчас врежу, так будешь знать!

— Ты? Врежешь?

Куликов неторопливо прислонил к стволу удилище, бросил в мох щуку и, смерив Петью глазами, шагнул к нему.

— Попробуй только! Попробуй! — истерично взвизгнул Сакин.

— Коля, не надо! — отчаянно закричал Илюша и с такой силой вцепился в руку Куликова, что тот поморщился от боли.

— Сговорились? — в тихом бешенстве спросил Колька и так махнул рукой, что Илюша отлетел к соседней сосне.— Ну и целуйся с ним!

Он резко нагнулся, рывком поднял рыбину, прихватил удочку и круто рванул к дороге.

— Больно он тебя? — участливо нагнулся над Илюшой Сакин.— Вот зверюга!

— Да ладно, ничего,— бормотал Илюша, трогая ладонью ссадину на щеке.— Ишь ты, кровь...

— Это мы сейчас! На вот моху прижми, все пройдет.

Илюша прижал к щеке влажный клочок мха.

— Чего ты с ним связался? На рыбалку пошел... А я тебя утром искал, хотел в лес позвать,— не моргнув глазом, соврал Сакин.— Знаешь, какая у меня штуковина есть?

— Какая?

— Не сболтнешь? Дело секретное.

— Да ну, чего ты?

— Гляди!

Сакин с торжествующей улыбкой извлек из мешка тускло сверкнувшую «мелкашку».

— Ух ты! — восторженно протянул Илюша, поднимаясь с земли.— Твоя?

— Моя! Отец купил, вроде как для сельпо, а на самом деле для меня. Только охотиться сейчас нельзя, потому в мешке и таскаю. А хошь, пойдем по разику стрельнем?

— Где?

— А вон ближе к берегу, там тихо, никого нет.

— Дай подержать.

— На, пока я добрый.

Они вернулись к берегу выше луговины, где сосны подступали почти к самой воде. Петька прилепил к стволу толстой сосны большую шишку.

— Попадешь вон с оттуда?

— Не знаю... Только, Петька, давай лучше шишку на пень положим. Чего деревину зря портить?

— А чего ей сделается? Подумаешь!

— Нет, давай на пень!

— Ну на пень так на пень, сам ты пень березовый.

Сакин пристроил шишку на старом смоляном пне. Оба отошли метров на двадцать в глубь леса.

— Валай ты первый,— великодушно предложил Сакин, заряжая винтовку.

Илюша лег на землю, расставил локти, прижал приклад к щеке так, что белокурые волосы касались темно-вишневого ложа, старательно прищурил левый глаз. Сухо щелкнул выстрел. Шишка на пне даже не шевельнулась.

— Эх ты, мазила,— снисходительно рассмеялся Петька. Давай покажу, как стрелять надо!

Он начал заряжать винтовку, но вдруг остановился, прислушиваясь. За рекой кричал человек. Голос был еле слышный, хриплый.

— Хана!

Гангстер дернул затвор, достал патрончик и воровато сунул винтовку в мешок.

— Мотаем скорее, а то застукают тут, не отчитаешься.

— Погоди! — остановил его Илюша.— Заблудился человек-то, покричать надо!

— Не вздумай! — угрожающе сказал Сакин.— Только вякни, так трахну прикладом по башке — своих не узнаешь!

Илюша нехотя побрел по старым, еще заметным во мху следам. Некоторое время Петька молчал, настороженно оглядываясь вокруг, потом взял Илюшу за локоть.

— Кричать еще хотел. Сам в тюрьму просишься?

— Да ты что? — не понял Илюша. — В какую тюрьму?

— Знаешь, чего за рекой-то орали? Пульку твою схватил кто-то.

— Как «схватил»? — все еще недоумевал Илюша, но почувствовал, как по ногам поднимается липкая ознобная волна страха.

— Не знаешь как? Может, в голову, а может,— в брюхо. Пуля от «мелкашки» на полтора километра летит.

— Врешь...— растерянно прошептал Илюша.

— Чего тут врать, дело ясное,— с мрачной уверенностью сказал, как припечатал, Сакин.— Только ты никому — ша! Обоих посадят: меня за винтовку, а тебя — за это самое...

Илюша круто остановился, швырнул на землю удочку и опрометью кинулся к реке.

— Куда ты? — испуганно крикнул Гангстер.

— Искать! — не останавливаясь, махнул рукой Илюша.

— Молчи, понял?!

Сакин еще долго стоял и смотрел вслед Илюше. Постепенно в его глазах появлялось нечто растерянное, на душе было муторно от сознания, что даже всегда им презираемый, обманутый и сегодня мямя Телицын не испугался, не стал униженно просить заступничества и помощи. Вновь, как часто бывало в последнее время, Петьку охватил порыв холодной ярости, ненависти ко всем, для кого он был только «гангстером», кто долгие месяцы не хотел замечать в нем ничего человеческого. Иногда в порыве такой ярости хотелось бить и кромсать что ни попадя. А иногда хотелось заплакать, вот как сейчас, нет, не заплакать, а зареветь, завыть, чтобы в диких слезах выплеснуть раз и навсегда то необъяснимое, отъединяющее от людей, что делает его особым, не похожим на них.

В иные минуты Петька готов был отдать все, лишь бы стать пусть не Куликом, пусть Илюшкой даже, но чтобы хоть кто-то из людей подошел с добрым словом, чтобы хоть один день не отворачивались от него сверстники, брезгливо пряча глаза. Но что надо отторгнуть от себя или, наоборот, присоединить к себе, чтобы стать как все, Петька не знал, и пока некому было научить его. Оттого бессильная злоба подкапывала снова и снова, накрывая его с головой своими мутными волнами.

«Пусть побегает, поищет вчерашний день! — язвительно подумал он об Илюше.— Теленочек небодучий!»

И хотя он мог бы еще крикнуть, вернуть перепуганного Телицына и объяснить, что он просто-напросто пошутил, но крикнул, а, повернувшись, понуро побрел по тропе.

4

Илюша бросился на далекий крик в лесу и долго метался по берегу Ковровки, пока не наткнулся на брошенный в заводи плот. Крик, все слабея, почудился еще дважды, пока Илюша переплыval реку, резко и сильно отталкиваясь шестом. Но стоило углубиться в густой ельник на том берегу, как голос пропал, растворился. Илюша долго и упрямо шел вперед, напряженно прислушивался, кричал сам, поворачивал всякий раз, когда казалось, будто кто-то стонет неподалеку. Сердце безудержно колотилось от отчаяния за свою невольную жестокость и непоправимое зло, которое, как он думал, нанес незнакомому человеку. Лежит тот сейчас, истекая кровью, может быть, на самой той грани, что отделяет живого человека от бездушного тела. Илюша терзался, желая для себя самой страшной, небывалой казни сейчас же, ни минуты не медля.

Наконец он остановился, лишенный сил. Лес сурово, укоризненно высился вокруг, дикий и незнакомый. Сухие длинные сучья, казалось, насмешливо улыбались, качая острыми бородками мха. Илюша опустился на трухлявую валежину, обхватил голову руками. С минуту он неподвижно сидел, совершенно опустошенный. Потом медленно, по-стариковски поднялся и сутуло побрел к берегу.

Он не сразу понял, что заблудился. Только когда между высокими кочками проблеснули оконца воды, а ельник стал низкорослым и ржавым, Илюша повернулся в другую сторону. Но и это он сделал почти бессознательно, повинуясь скорее инстинкту. Солнце пока подсвечивало вершины елей, но, сбитый с толку, терзаемый лишь гнетущим чувством вины, Илюша не смог, да и не догадался определить, в какой стороне спасительная Ковровка.

Лес вскоре посветел, стал подниматься на взгорок. Там и сям запестрели осины, прямые, матерые, в два обхвата.

Ноги отяжелели. Илюша привалился плечом к теплому стволу осины. Куда идти? Кого звать? И не идти нельзя — страшен вечер в глухом, неприветном лесу.

Тени исчезли. Нет, не исчезли, а сгостились, сплелись в одну призрачную и всеобъемлющую тень. От мхов потянуло туманной сыростью. И где-то метался, должно быть в бреду, раненный им человек.

«Людей звать надо! — устало и спасительно подумал Илюша. — Эх, выбраться бы!»

Теперь, когда появилась осознанная, единственно верная, как думал Илюша, цель, его словно охватила лихорадка. Мысли прояснились: он выбрал ель, вершина которой гордо высилась над другими, и стал карабкаться вверх, надеясь оттуда увидеть если не деревню, то хотя бы Ковровку. Но, достигнув макушки, где ветви опасно пружинили под ногами, он сразу понял бессмысленность своей затеи. Небо потемнело уже, а обзор заслоняли другие вершины, выше и гуще той, на которой сидел Илюша; их было много кругом и дальше.

Дрожащими руками Илюша перехватил ветку, опустил ногу вниз, нащупывая надежный сучок. И вдруг замер, каким-то седьмым чувством осознав, что дорога сейчас найдется. Осторожно повернув голову вправо, он скорее угадал, чем увидел, извилистую полоску тумана. Впрочем, может, и не было никакой полоски, а просто воображение нарисовало ее меж острыми копьями елей. Но даже намека хватило для того, чтобы неожиданно лес как бы развернулся перед ним и стал понятен, словно карта.

Илюша торопливо спустился вниз, в прянную теплую темноту, сквозь которую лишь смутно угадывались контуры близких деревьев. Дальше мрак сливался в ничто, и где-то там, в этом ничто, лежал раненый. Илюша невольно ускорил шаги и сразу стал спотыкаться о сучья, задевать плечами шершавую кору елок. Чем дальше и торопливее шел он, тем больше овладевал всем существом его неизведанный прежде и оттого еще более жуткий страх.

— Ха-ха-ха-у-у-у! — раскатилось рядом визгливо-злорадное, то ли смех, то ли стон.

Холод облил его с головы до ног. «Филин!» — пронеслось в каком-то краешке мозга, но спасительная мысль не успокоила, не уменьшила ужаса. Илюша рванулся вперед, прямо на кусты, на валежник, протянув вперед руки, чтобы не выколоть глаза. С маxу, больно стукнувшись руками и головой, налетел на березовый ствол. Удар как будто отрезвил его: Илюша остановился, приглядевшись — впереди обозначивался широкий просвет, словно сама ночь отступила от того места. С облегчением, с животной какой-то радостью прыгнул Илюша в нежданный этот просвет и кубарем покатился с обрыва, едва успевая цепляться за торчащие из песка корни.

Перед ним, журча на перекате, бежала река. Илюша сразу узнал место: оно было почти на километр выше по течению от перелеска, где встретились с Сакиным. Ободранный, промокший, грязный Илюша на четвереньках подполз к воде и жадно припал губами к нагревшейся за день струе. Потом умылся теплой, из-под полосок тумана, водой и вдруг спокойно, устало как-то сообразил, что бегал он по лесу зря, что берег, в направлении которого он стрелял, намного выше того, раменского берега, и скорей всего пуля просто застряла в песке обрыва. А если так, то не было раненого человека и вообще ничего не было.

Не веря еще спасительной догадке, он перешел Ковровку вброд по перекату и спустился вниз по течению до места, откуда стрелял несколько часов назад. Даже сейчас, в темноте, было заметно, что противоположный берег намного выше этого, он поднимался, казалось, до самых звезд, густо высыпавших на августовское небо.

Илюша глубоко, со всхлипом, вздохнул и опустился на землю.

ДЕД СЕРЖАНТ

Рубанка в руках у деда и не видно, белая пружинная стружка прямо из ладоней ползет, будто дед ногтями ее с бруска сдирает. Загляделся Витька на черные эти руки, зеленоватыми жилами перевитые, забыл, зачем пришли. Спасибо, Петька напомнил: кулаком в бок не больно, но все же чувствительно ткнул.

— На озеро поедешь, деду? — насмелился Витька.

— А вам-то что?

— Возьми, деду! Мы с Петькой. Не бывали мы...

— Хоть глазком поглядеть! — встрял Петька.

Дед Сержант седыми бровями пошевелил вверх-вниз.

— Дома спросились?

— Спросились!

— Отпустили нас!

— В утре к моей лодке прибегайте.

Ничего больше не прибавил дед. Не любитель он говорить.

Ночь, считай, без сна прокоротали, боялись проспать. К реке прилетели затемно, уселись в дедову лодку. Шипела и булькала под днищем вода — черная, шалая. В синей заволоке на том берегу богатырской пилой лес зубатился. Последние льдины неслись по высокой майской реке.

— Страшно, поди-ко, — поежился Петька. — Ишь, вода-то...

— Не дрейфь! С дедом Сержантом не страшно!

Дед Сержант — вот он, легок на помине.

— Сигай на корму! — буркнул. — Пикать станете — в реку кину.

Как зайцы на корму скакнули. Дед посудину толкнул, сам залез на ходу. Махнул веслами разгонно, наладилась лодка от безглазой деревни к холмам, лучащим рассветную ясность.

Сказки в деревне сказывали про те края. Мало где на земле нехоженые места остались, озеро Щучье — одно из них. Закрылось оно хлябями болотными, только и пути, что по вешней воде, в обход порогов. Давно ведомо: один дед Сержант на Щучье ходок. Потому — суров с виду и сердит душой. Глянет — сердце в пятки уходит. Сидят Петька с Витькой молчком, друг дружке подмигивают. Сказал ведь: пикнете — в воду кину. И кинет, как пить дать.

За холмами, за порогами обступили реку чахлые, взъерошенные прошлогодней осокой берега, голые тоскливыесушки. Заторопился угрюмый дед Сержант:

— Витька! Бери багор, пехайся!

Рад Витька. Прискучило плыть немым сиднем. Багор — в воду, понеслись!

Долго плыли. Устали глаза от безоглядного сверкания снеговицы на топях. Иной раз река, укрыв болотную ржавь, в озеро разбегалась — берегов не видно. Привставал тогда дед Сержант, рысыми глазами проверял воду — не сбиться бы! Не сбылся.

— Вот и Щучье! — сказал наконец и улыбнулся молодо.

Озеро небольшое, тихое. К берегу не приставая, выкинул дед сетку и погреб вдоль откоса с материальными соснами, выглядывая на ночь ладное место. Облюбовал замоину у песчаной косы.

— Берись, огольцы!

Лодку на песок выволокли, удочки в руки — убежали Витька с Петькой на яму. А дед Сержант с топором, с котомкой двинул в сонный сосняк по чистым холодным лужам.

Весело валились наземь певучие сушки. Большой запас натаскал дед Сержант на поляну, где стан удумал. Глянул на теплые звезды, побрел к озеру. Завидели Петька с Витькой, удочки в берег воткнули, к нему наперегонки шпарят.

— Али не клюет?

— Не...

— Утром, глишь-ко, брать станет. Садитесь, что ль.

Лодка к песку прикипела. Дед Сержант руками в борт уперся, сапоги до хруста вдавил. Судно будто зубами скрипнуло, село на воду, пошатнуло сосны в волглом озernом зеркале. Поплавки сеточные — ходуном: забеспокоилась рыба.

Сидел в ячее окунь, черные полосы на зеленых боках, иглы — гребнем по широкой спине. Малая щука рвала сетку из рук, спасалась, норовила юркнуть в черную глубь. В лодке

она металась, открывала страшную пасть, на деда глядела злобно. Выкинул Витька на настил под Петькину скамейку пяток плотвичек. Запрыгали, засверкали под луной серебряными боками.

Откашлялся дед Сержант, поплевал на ладони. Весла в воду — бесшумно. Застроились по сторонам водяные складки, дробили звезды в мелкие искры. Взвизгнул мокрый песок под днищем, вылетела лодка на косу.

Ребята улов в ведро склали, и повел их дед Сержант на стан.

Добра уха весной в рыбном месте, в смолистом сосняке, над ширью озерной. Отяжелели Витька с Петькой. И дед Сержант у костра оттаял, покрякивал по-домашнему. На него, такого простого и на себя не похожего, глядя, Витька о матери подумал, которая деда Сержанта не любила.

— Злости-то, злости-то в ем, прости господи! Так и сверлит из-под бровиц, так и буровит, не знать, куда спрятаться. Как есть колдун, насквозь видит...

Какой он колдун! Никакой злости сейчас у деда не осталось, одна доброта. Осмелел Витька, поближе к деду пододвинулся.

— Деду! А почто тебя Сержантом зовут?

Дед наклонил голову и хмыкнул. Глаза на лоб полезли у Петьки от страха и удивления.

— За что, деду?

— За дело! — буркнул дед, доедая рыбы остатки.

Помолчал, большие руки о штаны вытер.

— Расскажи, деду! — не отступался Витька, приметивший дедову доброту.

— Чего, Витюха, рассказывать? И рассказывать-то нечего. На войне однова батарея наша на немца напоролась, да так-то ли круто! Хочь лежи, хочь бежи. А мы с пушками. Прилетает командир батареи, приказывает:

— Выпустить по немецким танкам пятнадцать снарядов, орудия взорвать, отступить!

И сам ушел.

А мое орудие поодаль эдак было от батареи. Гляжу, идут на меня шесть танков. Открыл я огонь. Первый танк подбил, потом еще два. А снаряды вокруг нас вгустую ложатся. Наводчика убило, да и сам уж не мыслю живьем выбраться, а раз так — стреляю да стреляю. Гляжу — остатние танки обратно повернули. Пошто же мне в таком разе орудие взрывать? Отйти отошел, а пушку не тронул. Смекаю: выручу!

Пошел к комбату. Ну комбат правильно меня понял. Добился, значит, с командованием насчет машины. Я взял двоих, да сам, да лейтенант, командир взвода, с нами поехал. Сразу на углу нас и обстреляли из автоматов — дорога так поворотом шла. Еле проскочили. До хутора доехали, командир взвода слез. И машину тут оставили. А надо метров сто, не меньше,

ползком ползти, орудие-то у меня в поле, в ячмене осталось.

Не дополз я немного, приказываю: приготовить гранаты на случай, ежели не допустят нас до орудия. А допустят, я говорю Сметанину из нашей деревни, знаете, поди...

— Знаем, знаем!

— Да. Ежели, говорю, допустят, сразу вставляй панораму, стреляющий механизм, откуда бы ни выстрел — заряжай картечью, отбиваться будем.

Быстро к орудию подползли, свели станину на походную балку. Я махнул шоферу рукой, шофер быстро примчался, на ходу эдак развернулся. Набросили мы орудие на шкворень, а сами — в кузов. Только двинулись, по нам автоматные очереди опять полетели. Борта были железные у этой машины, так что все целы выехали. Ехали лихо, аж кронштейны у орудия полопались.

Дед Сержант улыбнулся, держа цигарку красноватыми в отблесках костра пальцами.

— Только не думал я, что после того разу кличка ко мне прилепится. Командир батареи встретил, возьми да и брякни:

— Ты у меня, Черепков, — герой. Одно слово, хват сержант!

До конца войны на батарее и звали все «хват сержант». Оно, конечно, оставил бы я свое прозвище на войне, кабы не Сметанин. Воротились в деревню, а он все зовет меня на народе «хват сержант». Про то забыл, как я его спасал, а вот прозвище не запамятаю, змей.

— А как ты его спасал, деду? — спросил неугомонный Витька.

Дед Сержант поглядел вверх, на бледное марево костра. Петька тем временем на лапнике улегся, глаза слипались.

— Спасал... Командир батареи приказал орудия перевезти на ту сторону речки. Только успели переехать — цепью немецкая пехота идет. Мы пока станицы вкалывали, а уж танк и самоходка напротив нас, на горке, и с ходу огонь открыли. Ну, мы три выстрела сделали, танк задымился, подбит, значит. А самоходка ихняя наше первое орудие разбила. Приказал командир отступать. Только я успел скомандовать, как самоходка по скотному двору дунула, у которого мы стояли. Черепицей мне стукнуло в висок, и в голову попал осколок, так сантиметра на два, обессиленный осколок, только кожу пробил. От удара-то сперва с ног сшибло. Очнулся, чую — неладно. Ускочил за угол. Немного погодя, в черепичной пыли, не проносит ее, слышу голос, стон. Я вскочил: «Кто там?» А Сметанин говорит: «Сержант! Ранен я...»

— Ну, чего делать? Я побежал к нему, а он еле ковыляет, в ногу ранен. Подхватил я его, за угол оттащил, а медлить нельзя: орудие разбито вдребезги, немецкая пехота на гору поднимается. Мне Сметанина не взять с собой — немцы его схватят. Пошли. А два километра надо идти до шоссейной дороги,

снегом, конечно, глубоковато было. Еле на насыпь вытащил я его. Парень молодой, сырой сильно — я его два километра по снегу тащил волоком. Только вылез на дорогу, вдруг меня майор санитарной службы задержал:

— Товарищ сержант! Остановитесь!

— В чем дело?

— Я вам приказываю: остановитесь! Вы кровью, говорит, истекаете. Вам надо неизбежно сделать перевязку.

Я говорю:

— Товарищ майор, не задерживайте. Я уверен в своих силах, недалеко хозяйство. Я, говорю, донесу раненого и сам в том числе на перевязку уйду.

Ну, он решился, говорит, дело твое, как хочешь.

Командир батареи меня на хозяйстве увидел, чего, говорит, хват сержант, раненый ходишь? Отправляйся в тыл!

— Не могу, товарищ комбат, рана пустяковая.

— Гляди сам, говорит, а я тебе даю неделю отпуска. Отдохни как следует, лица на тебе нет.

Я трое суток отсидел в санбате, надоело чего-то. Вечером, как водится, поужинал, да и пришел на огневую. Прихожу, там командир батареи стоит, а уж темнеть стало. Меня увидел:

— Ты куда?

— Воевать пришел.

— Ты, говорит, на бюллетне.



— Надоело мне, говорю.

Смеется:

— Ну что тут сделаешь с хватом сержантом! Настояще не поправился, а опять пришел воевать.

Да... Комбата нашего убило вскорости. Жалели его, хороший был человек. А я что, я на Сметанина не в обиде. Сержант так Сержант. Сержант не Сержант, а воевать надо было, Витька. За нас воевать было некому...

Замолчал дед Сержант, расплоспался на лапнике широко, вольно, будто после тяжелой работы, и не мигая глядел на весенние звезды.

Витька ткнул спавшего Петьку, жарко зашептал на ухо:

— Слыши, Петька, что скажу! Никакой он не злой, дед Сержант. Он, понимаешь, усталый. Сильно-сильно устал тогда, на войне еще, и все никак отдохнуть не может... Да не спи ты!

— Не щекотись! — каприсно дернулся Петька.— Ну тебя!

— Эх ты! — Витька махнул рукой и так же, как дед Сержант, растянулся на хвое, закинув за голову руки.

В ДОРОГЕ

Будто не было вовсе вчерашней метели, свирепого снегопада. Кружились только редкие снежинки, тихие, невесомые, и радостно было это нашествие чистоты на землю. Колышки, столбики и столбы, нахлобучив белые папахи, стали похожи на сказочных гномов. На улицах слышалось шарканье деревянных лопат: жители, всяк по-своему, чистили тротуары. Невесел в это снежное утро был один Володя Спешнев. Он с грохотом поднял капот и принялся сердито копаться в моторе. То и дело машина слегка вздрогивала: грузчики бросали в кузов тяжеленные мешки с мукою. Как назло, мотор работал без перебоев. Володя нервно сплюнул окурок в желтый молотый снег и крикнул:

— Давай шевелись! Уснули!

— Поспееши! — огрызнулся плотный, обсыпанный мучной пылью грузчик. — Насидишься в снегу, день твой.

Пока Володя рассеянно искал в карманах папиросы, из-за машины вынырнула потешная кругленькая шубка, обмотанная поверху платком. С пышной зимней экипировкой никак не вязались маленькие сапожки на ногах. «Шарик», — непроизвольно улыбнулся шофер.

— Вас Володей зовут, ведь верно? — тонким голосом спросил Шарик.

— Зови хоть горшком, только в печь не ставь,— отшутился он.

— Вы в Завражье едете? Возьмете?

— Не возьму.

— Как так?

— А вот так. Сам не знаю, доберусь ли, нет ли. Дорогу перемело.

— Иди борт закрывай! — окликнули Володю грузчики.

Укутав мешки брезентом, он тщательно запер борт, остервено пнул валенком задний скат и пошел в кабину. Увидев, что Шарик уютно устроился на сиденье, Володя с трудом проглотил ругательство.

— Ты... Ты что же это самовольничаешь!?

— Все равно не вылезу. Тебе надо ехать, а мне нет, да?

— А замерзнешь в дороге, кто ответит? Иван Петрович? Давай, давай, выметайся.

— Сам не замерзни, смотри, — спокойно возразил Шарик и стал развязывать платок.

Володя даже осталбенел от такой наглости. Некоторое время он с удивлением и с какой-то обидой смотрел на Шарика. А, пошло оно все к дьяволу. Что он — воспитатель детсада? Пусть мерзнет, если нравится. Он неловко плюхнулся на сиденье, с грохотом захлопнул дверцу.

— Ладно! Упрямых учить надо. Учи — нянчиться не буду.

— Очень нужно!

Мотор взревел, машина резво выскочила за ворота склада. Поплыли назад обсыпанные снегом дома райцентра. До полудня было еще далеко, но на центральной улице машины успели утрамбовать выпавший ночью снег. За поселком дорога вообще была как новая: только что прошел трактор, проволок за собой тяжелый, похожий на ледолом угольник, нагреб по сторонам высокие белые насыпи. У Володи немного отлегло от сердца — хоть по большаку можно проехать без приключений.

— А мне говорили, что дорога плохая, — притворно удивилась соседка, явно ища пути к примирению, — по такой мы быстро доедем, ведь верно?

Володя искоса взглянул на нее. Шарик успел выпутаться из необъятного платка, и на свет выглянуло наивное, полудетское личико с большими серыми глазами.

— Не бывала в Завражье?

— Ну откуда? Я и в районе вашем первый раз в жизни.

— К мужу, что ли? Или сучки рубить в лесопункт?

— Я из института, — пресекая его насмешливый тон, с чуть заметным оттенком превосходства ответила попутчица. — В Завражскую школу еду. На практику.

— Это дело. Учителей там всю дорогу не хватает. Далеко, у черта на куличках. Тайга. Вот никто и не остается. Дорога к тому же. Едем вот с тобой, а приедем непонятно когда. Может, к вечеру, а может, и через три дня.

— Семьдесят километров — три дня? — соседка недоверчиво подняла брови.

— По этому «асфальту», — кивнул Володя на дорогу, — проедем всего пятнадцать километров. А там — Максимовская повертка. После вчерашней погоды все равно что целина.



Трактор из лесопункта должны навстречу выслать, да когда оно будет...

— А если не вышлют?

— А если не вышлют, так и будем крымовать трое суток. Одна надежда, что мука у них кончилась,— невесело пошутил Володя.

Девушка замолчала. «Каётся, что поехала. Дошло. То-то,— старался подумать он злорадно, но злорадства не получилось, а получилась жалость к ее хрупкости и беззащитности,— совсем девчушка еще». Запорошенная тайга бежала навстречу, ровная, седая, унылая. Ни следа на обочинах, даже вездесущие зайцы еще отлеживались под кустами в мягких сугробах. Володя задумчиво жевал потухшую папиросу, потом ему надоело молчать и он спросил:

— Не боишься ехать в такую глухомань?

— Ребятишек боюсь,— смущенно призналась она.— А так что ж? И там люди живут, ведь верно?

— Не медведи, само собой. Хотя и медведи тоже имеются.

— Самое главное, чтобы была комната. Столовая. Кино, хотя бы через день. Библиотека. Хорошо бы телевизор...

У Володи снова пробудилась давешняя неприязнь к попутчице. «Тоже цаца. Балованная,— подумал он,— телевизор ей подавай».

Дорога, круто вильнув, сбежала с пригорка. Володя резко притормозил у просеки, широким каналом уходившей влево. От былой трассы оставались чуть заметные углубления в тех местах, где раньше гнездились колеи.

— А трактора видом не видано, слыхом не слыхано,— вздохнул Володя и напустился на попутчицу:

— Говорил, не садись! На этой стиральной доске как раз трое суток и просидишь, ни одна зараза не вытащит. Попляшешь ты здесь в своих штиблетах.

— Может, потихоньку поедем, Володя? — робко спросила она.— Потихоньку, ведь верно?

— Ладно, усни. Тоже мне, «потихоньку». Разбиралась бы!

Машина натужно ревела, еле двигалась, но все-таки двигалась вперед. Только один раз она зарылась радиатором в сугроб, и мотор, захлебнувшись, смолк. Володя вытащил лежавшую под ногами лопату и с видимой неохотой полез выкидывать снег из-под колес. Соседка тоже выскоцила и сразу утонула по колено. Он сделал вид, что не заметил ее, мстительно подумал: «Полные зачерпнула небось. Будет тебе телевизор».

Снова ехали на первой скорости. От радиатора валил пар. Колеса все чаще стали пробуксовывать, зарываться в снег. Высунувшись из кабины, Володя взглянул на две рваные борозды, уходящие назад к самому горизонту, уныло покачал головой. «И до Согринских пожен не доехали. А там...»

А там машина забуксовала всерьез, все глубже зарываясь в снег. Володя поставил рычаг скоростей в нейтральное положение. «Покопать, что ли? — размышлял он устало.— А ну к лешему! Всю ночь проковыряешься, пока до перелеска дойдешь».

— Шабаш! — сказал он девушке.— Будем трактор ждать. Можешь спать, времени у нас навалом.

Она молча глядела на него большими испуганными глазами. «Ничего,— усмехнулся про себя Володя,— в кабине не замерзнешь. Хотя, конечно, не как у мамы на перине. Без телевизора.»

Он отодвинул ногами лопату и топор, запахнулся в полушубок и боком прислонился к дверце, устраиваясь спать всерьез и надолго. Незаметно пришла тяжелая дрема. Перед глазами еще мельтешили сугробы, потом и они пропали, будто провалились.

Разбудили его слабые, по-детски обиженные всхлипывания. Вздрогнув от озноса, Володя приподнял отяжелевшую голову и взглянул на девушку. В мутном свете лампочки он не сразу узнал попутчицу. Щубка была плотно забита снегом, будто ее несколько километров тащили волоком. Платок густо усеян хвоинками. Девушка сняла сапожки и растирала ноги в мокрых чулках покрасневшими тонкими пальцами. Поймав его взгляд, она тихо сказала:

— Немножко можно подъехать, Володя.

Володя включил фары. Дорога метров на двенадцать была расчищена от снега, в колеях лежали мохнатые лапы елок.

— Это... это как же? Ты, что ли?

— Я...— жалко улыбаясь, ответила попутчица.— Я бы еще, да зазябла вся. И волки тут могут быть, ведь верно?

— Дурочка! — с испугом и нежностью закричал Володя.— Ноги отморозила! Снимай чулки! Надо оттереть снегом. Ну! А черт, ты же девчонка. Ну вот что...

Он стремительно сбросил с себя полушибок, кинул ей на ноги. Лицо побагровело от прихлынувшей крови. Стارаясь не смотреть на девушку, рывком включил скорость, дал газ. С разгона пройдя расчищенную полосу, машина метров тридцать шла еще по целине, подминая под себя пышные пласти снега. Когда перед радиатором снова вырос сугроб и завизжал, буксая, колеса, в свете фар совсем близко, рукой подать, зачернел край густого ельника. Подхватив лопату, Володя выскоцил из кабины, бросил в открытую дверцу:

— А ты чулки сними все-таки. Ноги укутай полушибоком, да потеплее.

Она доверчиво улыбнулась в ответ.

Не успел Володя разбросать снежные глыбы из-под радиатора, как услышал далекий, неясный гул. Выпрямившись, сдвинув ушанку на затылок, шофер замер. В морозной тишине

явственно различался тракторный рев. В два прыжка он был у кабины. Открыв дверцу, громко сказал:

— Живем, Шарик! Трактор из лесопункта идет!

Девушка не ответила. Завернув ноги в Володин полушубок, она крепко спала. Володя осторожно притворил дверцу и насторожился. Гул трактора удалялся, гас. Сразу все стало ясно. Трактор действительно шел из лесопункта, но по другой дороге. «Ничего! Ничего! — думал он, швыряя податливый снег.— Разорвусь, а пробьемся!».

ПОЛОВОДЬЕ

В лесу стало сумрачно, посвежело. Голые ветки, распаренные вешним солнцем, звонко щелкали по рюкзаку. Резиновые сапоги то скользили по наледям в ложбинках, то глубоко проваливались в сырой мох, который сплошь устилал ельники. Обойдя круглое болотце, Алексей наконец выбрался на большую дорогу. Отсюда еще не видно было реки, за которой лежал поселок, но на далеком холме отчетливо рисовалась железнодорожная насыпь на фоне резкой полоски угасавшей зари. Слева, над лесом, поднялась и с каждой минутой полнилась яркостью половинка месяца. Кое-где по-весеннему тревожно и сладко мерцали звезды.

Алексей невольно замедлил шаг. Он любил такие вот вечера, наступающие вскоре после ледохода, когда дышишь полной грудью и не замечаешь того: воздух, напоенный талой водой, проникает не в легкие только, а во все поры разгоряченного ходьбой тела.

Лес по сторонам дороги поредел и оборвался, в низине показались дома. Неторопливо сняв с плеча двустволку, Алексей разрядил ее и снова кинул за спину стволами вниз. Под светом луны матово блеснула река. На длинном, без перил, наплавном мосту обнималась парочка.

«Милуются... Весна!» — с улыбкой подумал Алексей. И это тоже было привычно, как лес, из которого только что вышел, как река и дома на том берегу. Все было свое, но свое не в том смысле, как бывает своя собака или свое ружье. Просто окружающее было частью его самого, частью, которая, наверно, могла жить сама по себе, отдельно от него, но без которой он сразу бы оказался никчемным и лишним на этом свете. «Счастье? — неуверенно спросил он себя, ступая на скользкие бревна моста.— А может, и счастье».

Сдавленный крик заставил его вздрогнуть и оглядеться. Пара на мосту двигалась как-то странно, будто танцуя. Парень, грубо заломив руки девушке, пытался прижать ее к себе.

— Пусти! Отпусти, пожалуйста! — всхлипывая, молила

она, то делая отчаянные попытки вырваться, то замирая в ужасе, когда парень, нетвердо ступая, приближался к крайним бревнам моста, из-под которых с бульканьем выбивалась черная, завитая в воронки вода.

Алексей подбежал и тотчас узнал обоих. Затравленно озираясь, увертывалась от поцелуев пьяного Володьки Петухова молоденькая медичка, недавно приехавшая в поселок.

— А ну отойди! — крикнул Алексей.

Володька от неожиданности разжал руки, и девушка бросилась бежать.

— Ты что делаешь? — приглушенным от ярости голосом спросил Алексей. — Тебе что, обратно захотелось?

Володька, овладев собой, сунул руки в карманы.

— Граждане, он меня учит! Коленочки не дрожат, Леша? Мне, Леша, тюрьма — дом родной, а по тебе, чай, мама плакать будет. А ведь я тебя, Леша, поучу, знай: поучу...

Алексей вдруг успокоился. Петухова он знал давно. Мелкий воришко, шаставший по соседским огородам, он лет пять назад был посажен за драку и только недавно вновь появился в поселке.

— Дай дорогу.

— Нет, Лешенька, надо договорить... — начал Володька вкрадчиво и вдруг заорал, распалья себя:

— С ружьем на меня! На меня, да!?

Рванул руку из кармана. Алексей успел заметить блеснувшее в лунном свете лезвие ножа и, не раздумывая, ударил Володьку ногой. Раздался всплеск, черная вода тотчас сомкнулась. Оцепеневший Алексей увидел, как Володька вынырнул метра за три от моста, невнятно крикнул что-то и снова скрылся. Сбросив ружье, рюкзак, Алексей лихорадочно стал снимать сапоги. Они не слезали с распаренных ног, и Алексей рвал их зло, торопливо. Швырнул телогрейку на бревна и прыгнул в пугающую черноту. Вода обдала как крутой кипяток, на минуту зашлось сердце. Торопливыми саженками Алексей поплыл к темневшей далеко впереди голове Петухова.

«До переката. Успеть бы! — лихорадочно мелькало в голове. — Там мелко. Не успею — в омуте гибель. Завертит».

Отяжелевшая рубашка и брюки тянули вниз, ноги двигались судорожно, рывками.



«Сведет? Не надо. Не надо», — молил кого-то Алексей, упрямо настигая черный комок, то исчезавший, то появлявшийся впереди. Когда Володькина голова снова скрылась, Алексей рванулся вперед, чуть не по пояс высунувшись из воды. Раньше он всегда гордился, что умеет плавать так, держа плечи над водой: сильные гребки выносили тулowiще, как нос глиссера. Сейчас рывок лишил последних сил. Зато Володька оказался совсем рядом. Алексей настиг его, схватил левой рукой за волосы, правой стал загребать к берегу. Неожиданно цепкие пальцы утопающего сильно дернули его за рубашку, а через миг Петухов всем телом навалился на Алексея, подмял его под себя, стиснул тулowiще коленями. Хлебнув воды, Алексей рванулся в сторону, инстинктивно пытаясь вырваться.

— Слезь! — захлебываясь, в страхе закричал он.— Слезь, сволочь, утонем оба!!!

Володька еще крепче вцепился в плечи.

«Ко дну!» — мелькнула в голове Алексея спасительная мысль. Схватив глоток воздуха, он нырнул. Некоторое время Петухов еще держался за плечо, потом пальцы разжались. Открыв глаза, Алексей в какую-то долю секунды увидел вверху светлое пятно луны и неестественно крупные пузыри.

«Конец», — обессиленно подумал он, и в ту же секунду ноги ударились о камень. Алексей встал, схватил барахтающегося рядом Володьку. Воды здесь было только по плечи, зато течение заметно усилилось,— их уже донесло до переката. Потерявший сознание Володька перестал двигаться. Борясь с течением, волоча за собой безвольное тело, Алексей осторожно побрел к берегу. Раза два он отступался, соскальзывая с крупных ослизлых камней, тяжело ударял свободной рукой по воде, уже не ощущая ее обжигающего холода. С трудом дотащившись до каменистой осыпи, он обеими руками выволок Петухова на гальку, выпрямился и долго откашливался, сплевывая воду. Тело была крупная дрожь — то ли от озноба, то ли от запоздалого страха. Не в силах справиться с ней, Алексей сполз на землю, обхватив колени руками, прижался к ним головой. Одежда быстро твердела, леденея. Володька пошевелился и слабо застонал.

— Вставай, падаль! — Алексей с усилием пнул Володьку ногой. Удар получился какой-то ненастоящий, ватный. Володька с трудом оторвал голову от земли, привстал на четвереньки и затрясся в неудержимом приступе рвоты.

«Иди надо,— отрешенно думал Алексей, глядя на Петухова. — Иди надо. Замерзнем».

Напряжением воли он заставил себя встать. Ноги подгибались, вновь застучали зубы. Петухов сел на камни, растерянно озираясь.

— Иди! — с трудом шевеля непослушными губами, приказал Алексей.

— Не м-м-могу...

— Иди! — Алексей, чувствуя, что звереет и что эта злоба прибавляет сил, ударил Володьку по шее. Тот с усилием приподнялся. Пошатываясь, они двинулись к темневшему впереди мосту.

Ходьба чуть-чуть согревала, зубы перестали выбивать ненавистную дробь, зато руки и ноги одеревенели. Алексей шел будто на ходулях. В ботинках у Володьки при каждом шаге хлюпала вода, и от этого хлюпанья было еще холоднее. У моста Володька навалился на изгородь. Алексей снял брюки и рубашку, наспех выжал и в одних трусах осторожно, держась самой середины моста, подошел к своей брошенной в беспорядке одежде. Собрал все в кучу, прижал к груди. Все время, пока выбирался обратно, спиной чувствовал опасность, словно боялся, что кто-то рванет сзади за плечи, снова швырнет в ледянную черноту. Остаток моста он пробежал бегом и торопливо стал одеваться. Лишь после того, как накинул телогрейку и натянул сапоги, страх отступил.

— Эй, ты,— кинул он неподвижно висевшему на изгороди Володьке,— одежду выжми, а то концы отдашь.

Алексей поправил ружье, поежился и, повернувшись, устало побрел к домам. Река катилась все так же молчаливо и сурово. Местами, как крохотные заплатки, белели не успевшие расстаять льдинки.

НОЧЛЕГ

Тропинка круто свалилась на измятую трактором дорогу. Спотыкаясь о снежные глыбы, я тяжело побрел к приземистым домам близкой деревни. Теплый свет окон, матовые дымы над крышами знобко тянули к себе, и только сердитый собачий лай упреждал, что на ночлег там, должно быть, пускают без особой охоты. Добреля до крайних домов, я остановился в нерешительности. Слева громоздился плотный пятистенок, из которого доносились переборы гармошки. Напротив слегка на отшибе, дремлю прищурив окошки, прилегла старая изба. Так странно была похожа она на отцовский дом, что ноги сами понесли меня к широкому расшатанному крыльцу. Хотя на стук в ворота никто не отозвался, я все-таки вошел в сени и ощупью нашарил дверную скобу.

В избе оказалось неожиданно людно и молодо. Девушка лет пятнадцати, сидевшая у стола, подняла голову на скрип двери и уже не отрывала от меня шаловливых любопытных глаз. Рядом с ней, придвинув к себе керосиновую лампу, читал потрепанную книгу кудрявый русоволосый крепыш. У стены на узкой железной кровати под узорчатым лоскутным одеялом лежала худенькая девочка. При моем появлении она

сорвала со лба полотенце и сделала попытку сесть, но старшая одной рукой опрокинула ее обратно на постель:

— Кому велено! Лежи!

Пока я смущенно стаскивал с потной головы заиндевевшую ушанку, откинулась линялая занавеска, из кухни шагнула крупная женщина в фуфайке, в резиновых сапогах. Я еще раз с сожалением оглядел теплую, но тесную комнату и спросил, не посоветует ли хозяйка, где можно переночевать.

— Хоть и у нас ночуй. Места хватит. Два парня живут из училища, на практике, как не мешают. Продрог, поди? Разболокайся да полезай на печь. Любка! Найди-ко отцовы катанки, пусть обуяет человек. Да самовар поставь!

Натянув просторные валенки, я забрался на теплую, пахнущую детством лежанку. Сразу обволокло жаром, задремалось. Разбудил меня громкий говор. Парень, отодвинув книгу, о чем-то рассказывал, но, видимо, он заканчивал уже, и я не уловил сперва нити разговора.

— Это как наш Вася Бутыренок, — даваясь смехом, заговорила девочка из кровати. — Он все старые кресты с погоста волочил. На растопку. На святки наши ребята ему большущий крест сколотили, к воротам поставили да и постукали. Он ворота отворил, а крест — по лбу! Как хрюснет! Он и давай креститься: «Господи спаси! Господи спаси!» Вот смеху-то было!

Парень хохотнул, Любка тоже весело улыбнулась, отчего ее миловидное лицо стало чуть плутоватым.

— Бутыренок у нас вроде Щукаря, — пояснила она.

— А как он бабку ночью в Починок отправил! — перебила Соня.

— Не отправил, а сама пошла. У бабки тоже, поди, винтика не хватает, — Любка снова повернулась к парню и продолжала, пряча улыбку. — Стрелял кто-то за деревней ночью. Бабка и отправила Бутыренку: иди да иди, узнай, чего сделалось. А тому вставать неохота было. Осердился, но пошел. Обратно заходит, лезет на печь. Бабка спрашивает: «Никого, однако, не убили?» Он ей с печи и



брякнул: «Атомную бонбу кинули, половину Починка унесло!» Бабка давай охать: «Как-то там Машка наша, жива ли, нет ли?» — «А ты сходи, проведай!» — «Да, видно, надо сбродить». Собралась да и побрела.

Тоненько запел вскипевший самовар. Люба побежала снять трубу. Соня тотчас откинула одеяло, села на кровати и, наматывая полотенце на лоб, спросила:

— Славка, а вы скоро к нам свет проведете?

— Скоро.

— Славка, а ты не боишься, что тебя током убьет?

— Не боюсь. Мы сейчас без тока вкалываем.

— А ты мне кошку дашь, на столб слазить?

— Не кошку, а когти монтажные. Будешь трещать, как сорока, нипочем не дам.

— Славик, я не буду, дай мне когти, ладно?

— Опять встала? Ох и задаст тебе мамка! — Люба, натужась, поставила самовар на стол.

— Только скажи, так и я скажу, что ты историю не выучила!

— Это что — история! — сказал Славка, расправляя широкие плечи, — вот у нас если электротехнику не выучишь, тогда — да. Не вдруг наверстаешь. А историю и потом прочитать можно.

— Хорошо тебе, Славик, — раздумчиво протянула Люба, подходя к старинному шкафу и выдвигая ящик. — Ты хоть поездишь везде, на белый свет поглядишь. А к нам в школу недавно опять председатель приходил, уговаривал, чтобы всем классом в колхозе остались. Вот и буду я доярочкой. И ничегошеньки-то не узнаю, не погляжу. Стану, как мамка, вертеться: с фермы — домой, из дома — на ферму. А той порой городские девчонки на инженеров выучатся... Ой, беда, чаю-то у нас ни капельушечки, надо в лавку бежать, пока не закрыто.

Только успела Люба уйти, как дверь снова впустила ложмистое облако мороза. Брякнув ведром, хозяйка сняла фуфайку, переобулась и, причесываясь горбатой гребенкой, прошла к столу.

— Отца не было?

— Не...

— Вот заброда-то! Опять к Семеренку укатил. Ой, нет ума у мужика. А мы и ждать не станем, поужинаем, да и все. Как ночлежник-то наш, живой?

— Отогрелся, спасибо, — ответил я.

— Ну дак слезай чай пить.

Я спустился по деревянным приступкам в бодрящий холодок прихожей, прошел в комнату. Хозяйка еще не кончила собирать на стол, как прибежала Люба, вся пунцовавшая от мороза. Прямо в пальто с узеньким пушистым воротничком она прошла

к столу, положила к подножию самовара бумажный кубик чаю.

— А посолиться-то ничего нет? — спросила мать.

— Нету.

— Я намедни вспоминала: трески-то, говорю, что долго не везут, так бы и поела.

За чаем хозяйка отчитывала Соньку:

— Не бережесся сама, какое здоровье? Лонись половину зимы в школу не хаживала и севогоду думаешь эдак? Вот и выйдешь дура неученая. Гли-ко вон Славик-то: и школу кончил, и в техникуме учится.

Она налила Славке стакан чаю и, протягивая через стол, попросила:

— Я, Славик, проводу у бригадира достала. Вы с робятами проведите мне лампочку на сарай. С фонарем-то, не ровён час, спалишь все подворье.

— Сделаем, тетя Настя, не велик труд,— солидно сказал Славка, принимая стакан.

— Электриков это к нам на постой определили,— объяснила мне хозяйка,— свет в колхоз тянут, от государственной линии, да уж больно долго тянут-то, дождаться не можем. Кругом люди со светом, один наш колхоз на усторонье, дак никому и дела нет.

— Материалы задерживают, — краснея, пробормотал Славка.

— А я тебя, парень, за Гришку приняла, так сердце и екнуло было, да нет, гляжу, не в шинеле, не Гришка.

— Отслужился, стало быть, старший?

— Отслужился, слава богу. Писал: выезжаю, мол, дак вот и ждем со дня на день. И то думаю — ну как война стряслася, вот и не бывать парню дома. А тоже, поди, надоела за три года чужая сторона. Все у нас не клеится да не ладится. Одного ждем — радость, а другого снарядили недавно...

Хозяйка подперлась ладонью, пригорюнилась.

— Да будет тебе, мам! — вступилась вдруг Люба и, вспыхнув, выскочила из-за стола.

— Тоже служить пошел? — поинтересовался я.

— Какое служить, кабы служить-то, дак что! Судили недавно Колюшку нашего. Два года парню дали. Да кабы было за что, ни за что пострадал и не виноват нисколько.

— За драку, что ли?

— Нет, он у нас смиреной, пальцем не трагивал никого. А ведь сам знаешь — молодой, неопытный, вот и подвели под суд.

Хозяйка, не прерывая рассказа, перекинула через плечо чайное полотенце, стала перетирать стаканы.

— Ладно, ладно, идите, оберу я,— повернулась она к шушу-

кавшимся в прихожей Славке и Любке.— Уроки-то сделала?

— Сделала,— сказала Люба, входя в комнату и украдкой показывая Соньке кулак.

— Долго не шляйтесь, молоды еще. Чуешь, Славка?

— Ладно, тетя Настя, мы только в кино.

Удовлетворившись этим обещанием, хозяйка снова повернулась ко мне.

— В городу Колюшка-то учился, на тракториста. Приехал на Октябрьскую. Все тихо было в праздники, все как у людей. С отцом все разговаривали про машины, сам-то у меня тоже тракторист, да и конбайнер, а тот, вишь, научился, отцу не уступит. После праздника приступился к Колюшке бригадир: съезди да съезди за шифером в район. Наш-то было заотказывался: правов нету — ну, как милиция заберет? Бригадир, чисто бес, давай дразнить парня: на тракторе, дескать, и все без правов ездят. Не самолет. «Белорус» с тележкой — ума много не надо. Тракториста бы, говорит, послал, да все при работе. Выручай, мол. Колька, дурачок наш, и поехал. И я-то на худое не подумала, да и отцу ни к чему. А тут вон какая страсть сделалась. Напросился к нему в районе наш мужик, распьяневшися: увези да увези. Колюшка урезонивает: не возьму, дядя Паша, в кабине баба у меня с ребенком. Тот матюгнулся, залез в тележку да на шифер и лег. Недалеко уж от деревни вытряхнуло его, прямо под колесо и попал. Колюшка домой приехал — лица нет. Я к нему — чего сделалось? А он ни словечка. Лег на кровать в чем был, да и молчит. Потом встал, только двери хлопнули. После уж бабы сказывали: зашел он к Евстолье, шапку снял, да и говорит: «Я ведь вашего Пашу разъехал». Повернулся да к милиционеру. Посадили нашего Колюшку...

Хозяйка отставила чашку и поднесла полотенце к глазам. Соня заерзала на кровати, сказала еще тоньше, чем обычно:

— Два года — недолго. Меньше чем в армии. Я и школу не кончу, а он уж придет...

— Чего-то ты понимаешь, горюшко!

— А мы, мам, Славке про Васю Бутыренка рассказывали... — глаза Сони блестели от слез. Заметив мой взгляд, она сердито отвернулась.

Хозяйка вздохнула, видимо успокаиваясь.

— Смешной старик,— сказал я.

— Он сзызмальства у нас выдумщик. Теперь и ребята большие, а все свое.— Хозяйка вдруг широко улыбнулась, хотя глаза оставались печальными.— Лонись дочка приехала в отпуск тоже вот около этого времени. Попадать к нам худо — замерзлая дорогой-то. В избу зашла, отышаться не успела, а он ей и говорит: «Замерзла, Женя? Рубаха-то чистая есть? Иди в баню. Только что топлена. Что воды, что пару — вдоволь». Та — рада. Перемену захватила да в огород, к бане.

Разделась в предбаннике, двери отворила, а тамотка все углы обындевели — две недели не топлена баня-то. Воротилась домой и бранится, и хохочет: «Ну, говорит, старый, я уж было и отвыкла от тебя».

В сенях раздались тяжелые уверенные шаги.

— Идет наш заброда. Покормлю да обряжаться стану, корова-то у меня, у неряхи, все не доена.

Хозяйка поднялась, пошла навстречу мужу.

— Что дольше-то не посидел? Не налили, видно?

— Налить — дело нехитрое, да наливать нечего стало. Не заводись, не заводись с полоборота, бутылку на троих всего и тяпнули.

— Знаю я твою бутылку! Садись вон ешь, пока со стола не убрано.

Хозяйка что-то быстро заговорила приглушенным голосом. По случайно залетевшему слову «охотник» я догадался, что речь обо мне.

— Ну и ладно! — добродушно сказал хозяин и шагнул в комнату.

— Что, парень, пустой пришел?

— Не повезло.

— Это попозднее, к весне поляши на березу пойдут, вот тогда не зевай.

Сонька не дала ему договорить.

— Папк, я завтра в школу пойду! Чего лежать-то, и так до смерти надоело!

— Верно, дочка! Ни к чему нам это лежанье! Книжку мне принесешь?

— А ты еще ту не прочитал.

— Не прочитал, девка, не прочитал. Боле такой скукоты не носи. Скажи: Марья Григорьевна, дай папке чего-нибудь пошпионистее.

— Сиди, шпион! — рассмеялась вошедшая с кухни хозяйка. — А тебе, Сонька, так и так надо в школу идти. Завтра, сказывают, зубной техник приедет из району, вот и поглядит, чего у тебя с ногами.

— Видал? — подмигнул мне хозяин, которого, как оказалось, звали Степаном, — зубной техник ей ноги лечить будет!

— А на то и доктор! Не везти девку за шестьдесят верст в больницу по морозу. Может, мази какой выпишет.

— Брось! И так пройдет, верно, Сонька?

С приходом Степана комната будто сузилась и повеселела. Был он в меру крупен, широкое лицо обветрено, под высоким лбом смеялись хорошие серые глаза.

Я спросил его о заработке.

— А ничего! Живем, не тужим, живали и хуже. Я Любку свою нет-нет да и поддерну: гляди, говорю, в город уедешь, попрыгаешь на шестидесяти рублях. Там вон бабы, говорю,

на путевую юбку заработать не могут, на четверть выше колена носят. Обижается.

— Отчего же народ из деревни уходит?

— Ну, про то в газетах пишут. Цирка, виши, у нас в деревне нету. С балеринами. Оттого и поперли все. На цирк поглядеть охота.

РАЗЛАД

Заглушив мотор, Лешка обошел машину и ловко взобрался в кузов, который вровень с бортами был нагружен тесом. Из-за этого теса сколько времени стояло все дело: сруб дома был давно готов, над ним, словно костлявые руки, сцепились стропила, а крышу крыть было нечем. Швыряя тяжелые доски, Лешка думал, что за лето отделает дом, и к Октябрьским, пожалуй, можно будет перебраться в него из старой халупы. И почему-то представлялось, что войдет он в новый дом не один, не с матерью, а с Галей Зайцевой, ясноглазой медичкой, по какой-то доброй случайности попавшей к ним в деревню.

Последняя тесина, грохнув, замерла на земле. Лешка открыл дверь в сени. Взвизгивая, сунулся в ноги Трезор.

— Лежать! — с притворной строгостью прикрикнул хозяин.

Мать собирала на стол.

— Привез?

— Привез. Николай Иванович сегодня подходит, вези, говорит, тес с пилорамы, распилили. И с работы отпустил. Душевный мужик.

Мать, таясь, усмехнулась. С ранней весны обещал Николай Иванович распилить бревна, пока не догадалась выставить из-под полы бутылку. Но сыну ничего не сказала, знала, что не полюбится.

— Степка Бондарев, сказывают, приехал. При шляпе...

— Верно? — Лешка даже ложку уронил. Со Степкой он не видался лет шесть, а ведь дружки были в детстве, водой не разольешь.— Ну, если приехал, так нас не обойдет.

Лениво черпая окрошку, Лешка глядел в окно на речную излучину и вспоминал, сколько его сверстников вот так же, как Степка, не стали жить в деревне. Получалось порядочно.

Он еще не успел пообедать, как в сенях с лаем заметался Трезор. Выглянув, мать обрадованно заговорила:

— Заходи, заходи, Степа, не бойся, не укусит.

Через порог, нагнув косматую голову, шагнул Степка. Ленька встал:

— Приехал? Здорово! Давай вот садись сюда.

— Да ты не беспокойся! — забасил Степка.— Я на минуту, проведать только.— От него слегка пахло вином.

— Ты посиди,— предупредил Лешка.— Я скоро.

Он, как был, в одной майке вышел на улицу, на секунду задумался и направился к бригадирскому дому.

— Николай Иванович, будь добр, дай трешник.

— Трешник? — удивился бригадир. — А я думал, ты непьющий.

— Степан, понимаешь, приехал.

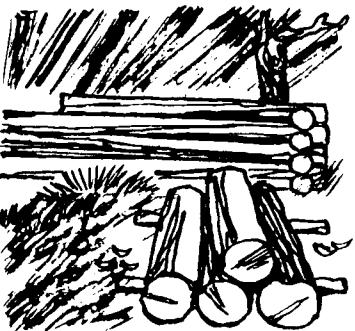
— Понятное дело. — Николай Иванович тяжело поднялся и, покривившись в ящике комода, двумя пальцами подал бумагку. — Хотя и так рассудить, он-то с заработка приехал, а ты разоряешься.

— Ну, не от этого наши домики покосились! Спасибо, с получки отдам!

— А я думаю — куда он и скрылся! — Степка повертел бутылку в руках, сморщил нос. — Тещина смерть. Ну да ладно, за неимением лучшего.

Выпили. Быстро пьянеющему Степке стало жарко. Снял пиджак, галстук, рванул воротник шелковой рубашки:

— Деревня. Оттуда вроде тянуло, а приехал — скука. «Избы подбоченились, а и всех-то пять». Молодежи нет. Мать плачет: сосед полметра огорода оттяпал. На кой ей огород этот сдался? Доярки встретились, радуются, что по сто восемьдесят за месяц отхватили — вот смех-то!



— Тяжелые у нас деньги, — возразил Лешка.

— Нет, меня золотом осыпь, я сюда не поеду. В навозе копаться, чтобы раз в год тряпку купить, костюмишко — тьфу! И танцев, поди, не бывает?

— Не бывает. Танцевать в Федоровку ходят.

— Да я сколько ему твержу: гляди, как годки-то твои живут, все в люди вышли, — вмешалась мать.

— Поехали со мной, а?

— Нет, я уж как-нибудь с навозом... — насмешливо ответил Лешка.

— Чудак ты! Ну как знаешь.

Оба они сейчас приглядывались друг к другу, как мало-

знакомые люди. Степке вдруг отчего-то стало неловко перед Лешкой, может, оттого, что старый друг уже не понимал его с полуслова, как в детстве. Лешке же было жаль Степку, хотя вроде нельзя было его жалеть, уверенного, самодовольного и немного хвастливого. Откуда у него все это? Положим, прихвастинуть-то он и раньше любил. А презрение откуда? Ведь не куда-то приехал, в родную деревню. Лешка спросил:

— В свободное время там чем занимаешься?

— Да как сказать. По вечерам все больше на танцах. Девочки, скажу я тебе! В кино иной раз. Редко, правда. По телевизору когда что интересное — футбол там или еще что посмотришь. А нечем заняться — в домино, а то в картишки перекинемся. Вот это дело тоже времени много отнимает, — Степка со смехом щелкнул ногтем по бутылке.

— Н-да, жизнь, — неопределенно и опять непонятно Степке сказал Лешка.

Смеркалось. Стали собираться в кино. Лешка извлек из сундука суконный костюм, штапельную рубашку в розовый ромбик. Долго чистил обшарпанные ботинки. Лучших справить пока не на что — все деньги уходят на стройку. За последние три года только и купил ценного, что ружье.

Как ни чистился Лешка, но когда шагнул в комнату, мать сразу ощутила невзрачность сына рядом со Степкой — стройным, модным. Защипало в горле. Вздохнула: городской, за ним не угонишься.

В клубе на колченогих скамейках сидело человек пятнадцать. Степка презрительно скривил губы, глядя на убогую обстановку.

— А это что за цыпочка? — указал он глазами на Галю, садясь на заднюю скамейку.

Лешку передернуло. Неохотно ответил:

— Медичка наша.

— А она ничего... ей-богу, стоит вечерок провести.

После полуторы клубного зала улица удивила светом белого вечера. Полная луна редко-редко прикрывалась волнистым дымком почти прозрачного облака. Воздух, прохладный и тонкий, горячил кровь. Девушки расходились, за ними чуть в отдалении шли парни. Лешка заметил, что Галя несколько раз обернулась. Сердце гулко забилось. Невольно он зашагал быстрее. Степка не отставал, уверенный, что взгляды девушки предназначаются ему. Галя отнюдь не выразила неудовольствия, когда они приблизились, с интересом оглядела Степку.

— Салют, леди!

— Я не леди.

— Виноват. Вы лучше. Леха, ну познакомь же меня!

— Леха? — Галя удивленно вскинула брови и, заметив,

как покраснел Лешка, расхохоталась. Окончательно смешавшись, Лешка пробормотал:

— Степан это...

— Догадалась.

— Скажи мне, как тебя зовут, и я скажу, кто ты,— напирал Степка.

— Боюсь. Тоже как-нибудь обзовете.

— Вот так всегда. Судят по первому слову. А мне за хорошего человека жизни не жалко.

— Неужели?

— Честное слово. Только редко встретишь хорошего. В городе такие девчонки — оторви да брось.

— Вот я и дома. Спасибо, что проводили,— прервала девушка. Калитка захлопнулась неожиданно громко.

На другой день, как это бывало уже не раз, Лешку командировали в Сельхозтехнику помочь трактористам на ремонте, а заодно привезти запчасти. Прошла длинная дождливая неделя. Обратный путь достался тяжело: колеи залило водой, к глубоким лужам не придумаешь, как подступиться. До дома добрался только к вечеру. Поставив заляпанную грязью машину около сруба, он приласкал Трезора и вошел в дом. За столом, подперев скулы, сидел Степка и о чем-то разговаривал с матерью.

— Явился, труженик? Тяжело?

— Дорогу разбило. Спасибо, леспромхозовские ребята помогли...

Мать засуетилась, споро собрала поесть и ушла на ферму. Против обыкновения, Степка выглядел смущенным, будто не знал, с чего начать разговор.

— Ты чего мне не сказал, что ходишь с Галей?

— А что? — насторожился Лешка.

— Она сама сказала... Видишь, как-то завязалось у нас с ней круто. Жениться думаем.

Заметив, как окаменело лицо друга, Степка смущился еще больше, пробормотал:

— Если бы ты мне сразу сказал, я, конечно, на твоей дороге не встал бы. А теперь поздно...

— Так...— Лешка уронил руки на стол, сказал тихо:— Уйди.

Увидев его глаза, Степка тотчас встал и вышел, опустив голову.

Лешка долго сидел, не шевелясь. Потом снял со стены ружье, пристегнул патронташ, на крыльце свистнул Трезора, который, радостно взвизгнув, бросился вперед. Сосновый бор, где он так любил бродить за рябчиками, еще не успел стряхнуть влагу затяжного дождя. Свернув вправо от знакомой тропинки, Лешка опустился на широкий щелястый пень, положил ружье на колени и замер. Прошел час. Трезор, охрипший от лая,

разгоряченный, подбежал к нему, посмотрел укоризненно.

— Вот так, Трезорка,— проговорил Лешка, положив руку на загривок пса.— Опять мы с тобой одни остались.

Трезор понимающе махнул хвостом.

— Главное, Трезорка, чтобы ей было хорошо. Всем, кого любишь, должно быть хорошо. А если не так — какая это к дьяволу любовь? Только будет ли ей с ним хорошо? Как думаешь? Вот и я думаю — вряд ли. А сделать ничего нельзя, Трезорка. Такое это тонкое дело, что ничего нельзя сделать...

Возвращался Лешка через ржаное поле по едва заметной витой тропке. Тугие колосья ржи уже клонились к земле. Чем дальше к середине, тем выше становилась рожь, порой совсем скрывая его. Наконец поле расступилось, за луговиной блеснула речка. Лешка присел на берегу, взглядываясь в свою небольшую, такую родную деревеньку. Далекие сосны за полями торчали, как заводские трубы. И в первый раз в жизни Лешке было неуютно на знакомом до травинки берегу, в первый раз душа была не на месте.

ПОШУТИЛИ...

Рассказ монтажника

Одно время у нас в тресте бригада Пчелкина гремела, не слыхали? Как же, долго в передовых ходила. Теперь-то, правда, на нет сошла, забыли про нее, хотя Пчелкин никуда не девался, руководит. А из-за чего захирела бригада — и ты не поверишь, и в управлении сказать — засмеют. Зато монтажники в один голос твердят — из-за Клима Наумкина.

И что вроде бы с него взять? Дурак от рождения. Не то чтобы круглый, конечно, раз через все классы восьмилетки его проволокли и в ГПТУ строительной специальности обучили. А только больно уж прост. Простота-то, известно, по нынешним временам хуже воровства. И доставалось Климу за эту самую простоту бесконечно. Шоферня его за искрой к механику посыпала, за тремя атмосферами для компрессорщиков на склад с мешком бегал, даже за чертежами подземных этажей в проектную контору ходил.

Главное, не обижался: хохочут над ним, он только глаза вытаращит, а после руками всплеснет, да и сам зальется, что дитя малое. Оттого хоть и поругивали его за бестолочь, а в бригаде держали. Кроме всего прочего — безотказный был парень, говорчивый. Хоть вечером после смены, хоть в выходной вкалывать станет, только прикажи. И над безотказностью-то его тоже посмеивались, бывало.

С другой стороны рассудить, так и не худо, что есть в бригаде такой человек. Вроде разрядника, что ли. Последнее дело, когда все друг на дружку косятся да переругиваются,

никакая работа на ум не идет. А тут прохочутся — откуда что берется: у всех дело в руках горит.

И кто бы догадался, что Наумкин заявление на расчет подаст? Да, видно, любой щутке край бывает.

Дело-то, считай, с пустяка началось. Получили как-то монтажники зарплату, премию, все честь честью. Бригада после смены по домам разъехалась, а Сашка Копылов, Семен Воронин да Мишка Диев в вагончик возле стройки забрались. Им что, парни молодые, холостяжка, дома никто особо не ждет. Сашка за столиком сидит, перед ним старая пишущая машинка, бог знает, как она и в вагончик-то попала, а тут ее вовсе доломали. И с чего это Копылову придумалось: вытащил из кармана получку, вся новенькими червонцами, положил на стол и давай баловаться: сунет десятку одним концом под валик, крутанет, она из-под валика и выскочит обратно. Со стороны поглядеть, вроде деньги печатает. Сашка знай крутит да дружков подначивает: вот бы, дескать, такую работенку сыскать — ручку крутанул, и сразу тебе червонец. Те хоочут:

— За чем дело встало? Изобретай малогабаритную машинку, чтобы деньги печатала, миллионером будешь!

— Ежели, конечно, в казенный дом не загремишь!

На ту пору Клим-то и затесался в вагончик. Задержался, виши, на этаже чего-то доделывал, ну вот и занес в вагончик какой-какой инструментишко, благо дверь не на замке.

Зашел, значит, Клим, а у Сашки как раз десятка из машинки выскочила. Клим рот открыл, стоит, удивляется. Копылов дружкам подмигнул, десятку к глазам поднес, разглядывает:

— Краска неровно ложится, — говорит. — Мало осталось. Эти все, — поднял пачку со стола, — нормально отпечатались, как настоящие, а последнюю выкинуть придется...

Серега с Мишкой еле сидят, смех их долит, а Сашка — артист! — поднял глаза, испуг изображает, будто Наумкина только что заметил.

— Погорели, братва! — шепчет. — Засек нас Клим! Выдаст! Чего делать станем?

Ну, понятно, шептать-то шепчет, да так, чтобы и Наумкин слышал.

— Отсюда его никак нельзя выпускать! — встриял Мишка и кулаком по колену стукнул.



— Жаль парня. Пришить придется...

Клим аж побелел, заикается:

— Н-не выдам, р-ребята! Отпустите! Ей богу, н-никому н-не с-скажу!

— Нет, брат, тут уж ничего не попишешь. Ты, ясное дело, не виноват, да нам своя жизнь дороже!

А Клима ноги не держат, присел на лавку, зубами постукивает.

— Есть один выход, конечно,— гнет свое Сашка, сам украдкой дружкам кулак показывает, чтобы не хохотали.— Вот кабы ты к нашей компании пристал, тогда на тебя надеяться можно. Согласен фальшивые деньги печатать? Не думай, не обидим, сколько напечатаем, четвертую часть — тебе.

— И без д-денег согласен,— мычит Клим.— Не т-трогайте т-только!

— И ладно, так я и знал, что мы с тобой добром пладим. Тогда первое тебе задание: бери порожнюю банку, шагай в гостиницу «Полярная». Видишь, краска у нас кончилась, а привозит ее контрабандой один наш человек. Он сейчас как раз в гостинице живет, на втором этаже, в двадцать восьмом номере. Подойди к двери, стукни тихонько три раза вот так...

Сашка костяшками пальцев по столешнице размеренно: раз, раз, раз...

— Постучишь, он дверь откроет, а ты ему пароль скажешь...

Подумал маленько и прибавил:

— Запомни пароль-то хорошенько, а то я тебя знаю! Скажешь: «Не растет трава зимою, поливай не поливай!» Запомнил?

— Не растет трава зимою, поливай не поливай,— бормочет Клим.

— Он как пароль-то услышит, сразу тебе краски и нальет. Принесешь сюда, станем четвертные печатать. Да чур милицию за собой не приведи! Тебе же хуже будет.

Взял, стало быть, Наумкин порожнюю банку и бежать, только двери сбрыкали. Тут такой хохот в вагончике рванул, стекла задрожали. Нахохотались вволю, да и поехали по домам.

Так что думаете? Все ведь в точности Клим исполнил, по инструкции, это уж мы после узнали. Забрался в гостинице на второй этаж, нашел двадцать восьмой номер. Будь он пустой или, к примеру, женский, может, все бы и обошлось. На Климу беду жилем там оказался, командировочный, в кровати лежал. Постучал Клим три раза, как приказано, тот дверь открывает, в одной пижаме. Клим, стало быть, банку ему из-под краски протягивает и шепчет:

— Не растет трава зимою, поливай не поливай.

— Что такое! Что за шутки! Безобразие! Хулиганят тут всякие! — и дверь перед носом захлопнул.

Постоял Клим, постоял,— чего делать? Назад без краски страшно ворочаться. Решился еще раз попытать. Стучит опять же три раза. Может, думает, не понял его жилец. Тот из-за двери сердито спрашивает:

— Кто там?

Наумкин ему через двери же орет:

— Не растет трава зимою! Поливай не поливай! Бери банку, наливай!

Командировочный мужик вконец взбеленился, двери распахнул, вопит:

— Дежурная! Швейцар! Милицию! Не гостиница у вас — сумасшедший дом!!

Клим перепугался вконец, банку под ноги командировочному кинул да ходу.

На другой день Наумкин на работу не явился — неслыханный случай. Стали узнавать, как да что. Оказалось, заявление на расчет подал. Ну, в управлении его тоже за дурака знали, держать не стали.

Шила в мешке не утаишь, скоро вся бригада знала, отчего Наумкин рассчитался. Посмеялись, конечно, не без того. А через недельку приуныли: скучно без Клима, хоть волком вой. Привыкли, стало быть, к нему. День за днем — все хуже, начали собачиться, друг дружку подковыривать. И понеслось: то один рассчитается, то другой на соседнюю стройку перебежит...

Сашка-то Копылов, подлец, один из первых удрал.

И не стало передовой бригады! Незаметно как-то зачахла: из передовых — в середнячки, из середнячков — в отстающие. В управлении, само собой, догадки всякие строят: что, да как, да почему, а я прямо скажу: в Климе все дело!

Да... Поразмыслишь — вот тебе и Наумкин! А ведь дурак дураком, и уши соленые...

ТРИ СМЕНЫ

Солнце сидело на зубцах дальних сосен, когда Андрей подошел к полю клевера. Всю дорогу от деревни до клеверища гадал, почему молчит трактор и что мог натворить за ночь сменщик Колька Хохряков, горе луковое, как называл его иногда Андрей.

Перелезая через огород из суковатых жердей, он поскользнулся намокшей подошвой кирзяка и задержался на верхней поперечине, откуда было лучше видно все поле. За ночь оно почти что не изменилось: граница некошеного клевера отодвинулась совсем мало. На середине гона сиротливо приткнулся трактор с косилкой.

— Ну-у, помощничек! — пробормотал Андрей и пошел направик к машине, разбрызгивая голенищами росу. Сзади раздалось голосистое мычанье и дружный топот идущего по прогону стада.

«Дураку и горя мало, готов до белых мух сисловать. А мне завтра-послезавтра позарез на сенокос надо, бабе пособить. Все бы ладно, так сегодня и закрыли бы траншею-то. А виши, он, горе луковое, и не почесался за ночь. Али ножи полетели?»

При этой мысли даже мороз пробежал по спине, и Андрей чуть не бегом бросился к трактору. Шибко заколотилось сердце.

Кольку он увидел не сразу. Тот лежал возле тракторного колеса на слабом еще припеке, бросив под голову замасленный ватник. Рот его был полуоткрыт, на лбу выступила испарина. Андрей толкнул спящего ногой, сказал, одолевая одышку:

— Невесту проспиши, горе луковое!

Колька потянулся, не спеша перевернулся на спину, лениво открыл синие глаза. Ответил спокойно, будто и не спросонья вовсё:

— Леший бы вкалывал на этой волокуше, Васильич! Доломать заразу, да и дело с концом.

— Чего стряслось?

— Да гидросистема баражит. Устанавливал-устанавливал высоту навески, а косилка все по земле ползет, глину черпает. Чисто экскаватор. Ну, я самосвалы в деревню отправил, а сам на боковую...

— За мной не мог послать? Что я — в Америке живу?

Колька промолчал.

— Темнишь ты, друг, что-то. Вчера машина как часики работала. Да и с чего ей не работать — новая. Ладно, поглядим...

Андрей, наступившиесь, подошел к машине. Осмотрел гидросистему. Через минуту обрадованно затрещал трактор. Андрей сел за рычаги, попробовал оторвать косилку от земли. Гидросистема работала безотказно. Будто ветром выдуло его из кабины. Колька только что поднялся с земли, отряхивал ватник от налипших клеверных листьев. В глазах за деланным нахальством таился страх.

Подойдя вплотную, Андрей взял Кольку за плечо, гаркнул, заглушая треск трактора:



— Ну ты, брат, и лодыры! Давай вали отсюдова, пока цел! Руки о тебя марать неохота, а то бы...

Оттолкнул от себя, крикнул вслед:

— Вечером сменять не ходи, пусть другого сменщика ищут!

— Ты чего?! — кипятился Колька, отбежав на несколько шагов.— Не больно-то! Сознательный какой нашелся!

Он кричал еще что-то, но Андрей уже взобрался в кабину. Вдалеке, у скотного двора, показался самосвал. По какой-то особой ухватке, по неповторимому шоферскому почерку Андрей угадал, что за баранкой Саня Румянцев. «Ишь, шпарит! — подумал он, добрее душой.— Этот не проспит, этот на своей доходяге хоть на Казбек заедет!»

Приветливо кивнув улыбчивому Саньке, Андрей плавно тронул рычаг. Поплыли под колеса зелено-розовые волны клевера. Полетела из раструба косилки в кузов самосвала травяная крупка.

Солнце поднималось выше и вместе с росными испарениями тек от клевера пьянящий дух, который ощущался даже в кабине. От крепкого, такого привычного запаха срезанной травы Андрей совсем успокоился. Раза два на рытвинах косилка хватнула земли.

— Вот ты как? — разговаривал с полем Андрей.— А я, брат, возьму да тебя перехитрю. Ты что думаешь: цап-царап — и наших нет? А мы рычаг-то — сюда! Съело? То-то! Ну-у, а вот энто нам совсем ни к чему. Камень мы и объехать можем, мы не горды...

К полудню Санька, подъехавший четвертый раз, четвертый раз удивился:

— Во дает! Чисто бреет поле, ай да Андрюха!

Под вечер, когда к траншеи ушла последняя машина, Андрей вымотался. Откинулся на сиденье, прикрыл глаза, прислушиваясь к тяжелому стуку в груди.

«Сдается мой мотор,— печально подумал он.— И в капиталку не отправишь, да...»

Потом, стряхнув оцепенение, он тяжело вылез из кабины, потянулся и, случайно посмотрев в сторону, увидел Кольку. Сменщик подошел как ни в чем не бывало, бодро почувствовал:

— Отмаялся? — и проворно полез в кабину.

Андрей ухватил его за штаны, одной рукой сдернул на землю:

— Да ты, погляжу, артист! Я тебе что сказал? В конторе был?

— В гробу я видел твою контору!

— Вот и мотай с поля. Трактор — это тебе не барабан: хочу стучу, хочу — нет.

Колька исподлобья поглядел на широкоплечего Андрея, сплюнул:

— Мне что, я и уйти могу. А за простой ответишь.

— Иди, иди, отсыпайся! Простой... — передразнил Андрей.

Пришли машины ночной смены, и он снова завел мотор, подумал:

«Догадалась бы Дуняшка поужинать принести...»

Перерыв сделали в самое глухое, темное время. Наскоро съев три крутых яйца, выпив бутылку молока, Андрей завернул остатки принесенного дочерью ужина в платок, наказал шоферам разбудить его через час и растянулся на прогретом за день поле. Руки и ноги давили землю как чугунные, уснул он почти мгновенно.

Шоферы, Васька Пряхин и тяжелоглазый Степан Митюков, закурив, вполголоса переговаривались:

— Ладно, что отшил Васильич Хохряка. С тем лоботрясом опять бы смена пропала.

— За рублем гонится, вот и отшил.

— Брось, Степа! Когда это Андрюха за рублем гнался?

Совесть есть у человека.

— Со-овесть! — протянул Степан. — За совесть у нас не платят. А пальцы — вот. У всех к себе гнутся.

— С тобой скоро отговоришь. Выходит, честных людей нету?

— Кому выгодно, тот и честный. А мы с тобой ежели не подкальмим, так и ноги протянем.

— Уж ты протянешь! На машину в очереди стоишь?

— А ты откуда знаешь?

— Стало быть, знаю. Говорят.

— Ну и стою. Когда еще та очередь подойдет. А и подойдет — денег не будет.

— Все-то ты, Степа, стонешь! Слушать тошно!

— Тошно, так не слушай!

Вскоре снова загудели моторы, начали сечь тьму мощные пучки света от фар. Когда нескошенного клевера осталось всего с полгектара, Андрей, щурясь, тяжело выбрался на землю. Прошли сутки. Так же, как и вчера, сидело солнце на зубчатых вершинах сосен, как и вчера, по прогону шло стадо. Из-за косилки неожиданно вывернулся Колька, на сей раз не один, а с бригадиром.

— Жалуется на тебя! — кивнул бригадир на Кольку. — Работать, говорит, не даешь.

— Правильно. И не дам! — сказал Андрей. — Таким рабочим на тракторе делать нечего.

— Да брось ты, Андрей! Пусть парень хоть до обеда поездит. Немного тут и осталось.

— Сам справлюсь. Ему отдохнуть надо, вишь, какой хилый.

У Кольки побагровела даже шея, на глаза навернулись слезы. Он долго смотрел вслед уходящему трактору. Высунувшись из кабины, Андрей заметил его нескладную, ссутулив-

шуюся фигуру и вдруг пожалел, что не уступил место. «Хороший работник будет,— подумал он.— Ходит, виши, беспокоится, переживает... Ладно, круг обьеду, пусть садится».

Откинувшись на сиденье, Андрей потер ладонью левую сторону груди.

ОТКРОВЕНИЯ ВАЛЕНТИНА ЗОЛИНА

Той осенью была большая вода. В толще ее скрылись зубастые перекаты, и только судорожное дрожание тростника над гладью реки выдавало, что донные валуны по-прежнему неутомимо вспарывают поток. Упраям донный валун и консервативен: что ему любое течение!

Из-за неурочного паводка пропал клев на обычно рыбной реке. Откочевав километра два болотистым берегом, я смотал удочку и еле прорался сквозь залитый дождем ивняк на луговину. На краю ее за мелкой дождевой сеткой приглушенно желтели листья ольшаника. Слева, словно озябнув, жался пропитанный влагой сеновал, увидев который я вдруг надумал отдохнуть, а заодно и переждать непогоду под крышей.

Повесив удилище на вколоченные в стену деревянные колышки, я вошел в сарай, присел на умятое прелое сено. Квадратный дверной проем, будто рама, очертил безрадостную картину: грязно-серое небо, безучастно нависшее над луговиной, и размытые очертания прибрежных кустов. Не доносилось ни звука, кроме шелестящего шепота дождя.

Вдруг отчаянно и громко, а главное, рядом с сеновалом залаяла собака. По тонкому визгливому голосу можно было узнать: лает не зверовая животина, а заведомая дворняжка, из тех, что очертя голову бросаются на своих и чужих. Через минуту черный с белыми пятнами кобелек в две четверти роста подскочил к порожку сеновала и залился еще злее и чаще.

— Шарик, свои! Нельзя, Шарик! Кыш, сотова! Одурел! — закричал, приближаясь, человек в ватнике, в серой брезентовой фуражке. Бродни его были разогнуты и матово сверкали.

Шарик, словно стесняясь, завилял хвостом, отвернул морду в сторону.

— Что, под крышу загнало? — вместо приветствия добродушно спросил незнакомец.— Льет и льет nonече, прямо спасу нет.

Он снял ватник, резко тряхнул его одной рукой. Вторая висела плетьью, и по скрюченным пальцам я догадался, что рука перебита.

— На фронте? — показал я глазами на руку.

— Там! — равнодушно ответил он и, бросив ватник на сено, повернулся к собаке:

— Шарик! Ну-ко, сбегай побрани Серегу-то! Чего он, срамник, отстал!

Шарик нехотя выбрался под дождь, скоро у кромки ольшанника зазвенел визгливый лай, словно собачонка и впрямь браницась.

— Ловко! — засмеялся я.

— Шарик-то? Он такой! Беспорядку не любит.

Не успели мы покурить, как Шарик снова перепрыгнул порожек сеновала и, повернувшись к замаячившей неподалеку фигуре, незлобиво тявкнул два раза.

— Молодец, Шарик, побрани, побрани его, заброду! Ты где потерялся-то?

— Да виши, на волнушки набрел, жалко показалось оставлять. Здесь, что ли, посидим, Валентин, или уж домой заодно?

— Погоди, охолони маленько.

Серега, как назвал его мой собеседник, оказался рослым и плотным мужчиной лет за пятьдесят. Круглое лицо и потрепанная одежда были, что называется, насквозь деревенскими, но говор выдавал горожанина.

— А раньше-то мы с тобой, Серега, волнух не ломали, все больше рыжики. Не забыл?

Валентин повернулся ко мне:

— Тридцать семь годов, срамник, дома-то не бывал, — кивнул он на Серегу. — Как на войну ушел, так и не бывал.

— Что ты, Валентин, меня все «срамник» да «срамник»! — проворчал Серега. — Какой я тебе «срамник»?

— А ты не сердись! — захохотал Валентин, показывая щербатые зубы. — Присловье у меня такое, что поделаешь! В войну у нас старшина все эдак браницась. Хороший мужик был, чтобы там по матушке али как, не было и в заводе. Наварзашь чего, только и молвит: ой ты срамник! А от него, видно, ко мне перекинулось слово-то.

— В каких частях воевали? — полюбопытствовал я.

— А в пехоте! Оно, кабы не в пехоте, может, и не было бы этой оказии, — Валентин чуть согнулся в локте левую руку, словно показывая ее. — То и дело-то, что, как годы подошли, вызвали меня в военкомат, да и определили в матушку пехоту. Не больно слушали в те поры нашего брата. А тебя так, Серега, поди, спрашивали: не желаешь ли, товарищ Березин, в летчики? Али в штаб фронта пойдешь?

— Спросят, держи карман! — улыбнулся Серега. — Забрили да сходу под Ленинград. Я еще и винтовку по-настоящему в руках держать не умел. Доходной был, тощий, как скелет.

— Шкилет, форменный шкилет! — поддержал Валентин. — А помнишь, как на окопы-то гоняли?

Серега сосредоточенно кивнул.



— Погнали нас на окопы за Вытегру, — обращаясь ко мне, начал рассказывать Валентин. — Всю молодяжку из деревни загребли, баб, девок. Прибыли, а там — какая кормежка? Одно название. Четыре месяца эдак-то и пластиались, покудова по домам не распустили. Народ кругом поехал, через Череповец да через Вологду, а мы с Серегой надумали пешком. Напрямую-то много ближе. Вот и потопали. А зима, снег, мороз, обутка худая, одежонка в дырах, грязи на нас, вшей! Брюхо подвело... Сколько суток-то мы с тобой, Серега, шлепали — трое?

— Четверо.

— Вишь — четверо. К озеру Воже, как сейчас помню, под вечер выбрали. Куда податься? В Чаронду тоже не

близко, да и от дома в сторону, а за озером наш рыбпункт, свои мужики, деревенские, хоть покормят. Решились брести через озеро на ночь глядя. А темно, студено, ветер по льду большую силу набирает. Да и боязно, чего говорить! Серега и в те поры выше меня был, ну верно, шкилет. Ползэм это мы, шатаемся с голодухи на ветру...

— То один запнется да свалится, то другой, — вставил Серега.

— Ну! — подтвердил Валентин. — А Серега и говорит: давай я тебе, Валька, руку на шею положу, может, полегче будет. Клади, отвечаю. Идем дальше, все против ветра, к своему берегу. Серега опять и просит: давай посидим! Нет, говорю, сядем, так и не встанем, околеем. А он все свое: давай отдохнем!

Серега смущенно улыбался, словно стыдясь своей тогдашней, сорокалетней почти давности, слабости.

— Уговариваю его всячески, то побранюсь, то добром. Потом говорю: давай-ка мы лучше с тобой споем, говорю, песню! Какое уж там пенье, смех один, а больше выдумать нечего, последнее средство. И запели! Какую песню-то запели, Серега, не помнишь?

— Да модная тогда была — «Если завтра война...»

— Во-во! — Валентин усмехнулся, покрутил головой и, как бы не веря себе, удивленно добавил:

— А ведь дошли! С песней-то. К рыбпункту приплелись, колотимся, дедушко Илья спрашивает: кто такие? Свои, отвечаем, деревенские, с окопов идем. Пустил он нас, у печки на лавку посадил, забегал: «Сейчас вас, робятушки, по-

кормлю!» Пока по капусту на сарай ходил, мы, как приткнулись на лавке-то, друг на дружку наклонились, да и уснули...

— Сутки разбудить не могли,— добавил Серега.— На пол только опрокинули, на шубу.

— Верно! Потом уж дедушко Илья выговаривал: «Отчаянны вы головы! Ну-ко, ночью через озеро! Только что перед вами волки средь бела дня лошадь на льду задрали, на глазах у рыбаков. Бог вас спас, не иначе».

— А нам все одно, кто спас, главное — живы! — заключил Серега. — Бог ли, леший ли — все одно.

— Вчерась бабка Дуня на лешего-то наторкнулась,— за-смеялся Валентин, круто меняя тему разговора.— Закружилась в лесу, бродит-бродит, а все по одному месту. Испугалась нечредником, стоит да приговаривает: «Что ты, дедушко-батюшко, ко мне-то почто привязался? Уходи-ко с богом!» Встала под елку, сарафан наизнанку вывернула да и одела. Кряду в поскотину и попала, рядом и была.

— Бабка Дуня из ума выживает, вот ей и блазнит,— сказал Серега, поднимаясь.— Вроде посветлело маленько. Может, ближе к дому?

— А и верно! — Валентин потянулся за ватником.— Все одно не косьба сегодня.

— А вы что, до сих пор сенокосите? — удивился я.— Летом не удалось на корову накосить?

— Какая корова при моем-то здоровьишке! — с сожалением ответил Валентин.— Овчишек держу, да и на тех не наскоили по нынешнему лету. Раньше хоть робная помогала, а теперь тоже ноги отказали, что хошь, то и делай.

— Кто это — «робная»?

— А матушка моя. Вдвоем с ней перебиваемся, два инвалида. У меня пенсия военная, да у нее колхозная, да огородишко, да овчишки... Шарик! Ой ты срамник! Ну-ко сбегай побраницо Серегу! Виши, его опять в кусты понесло, не намокся еще!

Шарик резво кинулся вперед, и вскоре из кустов донесся его бранчливый голос.

— Не изловил никого? — в свою очередь спросил меня Валентин, кивнув на удочку.

— Клевка не видел! — пожаловался я.

— Ты как-нибудь к плотине сходи. Язенка, может, спроворишь. Я так все там их обманываю.

Вечером я обмолвился о встрече на сеновале своей хозяйке, маленькой и светлой старушке, неутомимо хлопотавшей по дому.

— Это, поди, Валька Золин! — догадалась она.— С маткой вдвоем живет уж сколько годов. Сряжался однова жениться, да матке невеста не поглянулась, так и не дала согласья, а он ослушаться не посмел, на матушку-то свою как на икону молится, все «робная» да «робная». Той-то тоже почто бы

перечить: Поля девка баская, урядливая. Так и живут: дома рядом, а не вместе.

...Я не рассчитывал увидеть Золина, когда рано утром, натянув бродни и вскинув удочку на плечо, спешил к плотине. Однако он уже стоял там, легко держа одной рукой длинное и тяжелое удилище. Солнце резко очерчивало его небольшую тень на синей воде и влажной от росы гальке. По широкому омуту ниже слива плотины важно кружились белые пузыри, среди которых не просто было разглядеть поплавок золинской удочки.

— Вставай рядом,— поздоровавшись, негромко сказал Валентин,— все веселее вдвоем-то.

— Давно здесь? — так же вполголоса спросил я.

— С уповодок.

— Ничего?

— Попусту. Да я своего язенка дождусь! Я ведь их на измор беру. Закину да и стою до упора. Он сперва мимо ходит, срамник, вниманья не обращает. Потом злиться станет: что тут, скажет, за оказия такая, вертятся червики да и только. В ину пору со зла-то еще и носом ткнет и давай ходить кругами. Кружит, кружит — плюнет. Видно, скажет, этот мужик не отвяжется, надо брать. И возьмет!

Мы оба посмеялись над шуткой, но стоять «до упора» у меня не хватило терпения и, постепенно переходя с места на место, я оказался довольно далеко от Валентина — там, где омут тугим и сильным потоком переливался в реку.

— Попался, разбойник! — донесся громкий крик от плотины.

Я оглянулся, прикрывая глаза ладонью от бьющего встречь солнца. Валентин вываживал крупную рыбу. Спотыкаясь о гальку, я подбежал, когда крупный с золотистым отливом язь уже был в руке у Золина.

— Обманул?

— Обманул, паря! Будет уха!

Я снова пристроился рядом, упрекая себя за нетерпение.

— Ну-ко, дедушко, пошли-ко еще рыбинку! — не то шутя, не то серьезно произнес Валентин, закидывая удочку.

— Какой дедушка? — не понял я.

— А в омуте-то которой! — улыбнулся Валентин, но улыбнулся так лукаво, что я опять не разобрал, обратился он к «дедушке» в шутку или всерьез. Решив проверить свои подозрения, спросил:

— А что, Валентин, как по-твоему, бабку Дуню и верно нечистая сила кружила в лесу?

— Да кто его знает. Может, и дедушко.

— Неужели ты в него веришь?

— Да как не поверишь? Многие видали.

— А сам видел хоть раз?

— Нет, мне не попадал. А Миколка-Топ, Федора Бахвалова сын, с им хаживал.

— Как так?

— Хаживал, хаживал Топ. В деревне-то все так парня и звали: Колька-Топ да Колька-Топ. Прихрамывал, виши, бойко бегать не умел. Одинова отец его на сенокос взял, а день ядреной задался, сено на глазах сохнет, вот Федор и посыает: сбегай, Колька, домой, приволоки новые грабли. Колька топ да топ, а старик торопится, время не ждет, загреть надо, вот и гаркнул ему вдогон:

— Да понеси тебя леший скорее-то!

Колька в ту пору у огорода был, у осека. Как сиганет через огород — и здоровому эдак-то не прыгнуть. Да и пропал. Федор вечером домой прибегает:

— Кольки не было?

— Не было.

— Ой, ведь неладно у нас с парнем-то!

А Колька близко к ночи пришел, сам не свой, глаза дикие, одежа рваная. Стали спрашивать, что да как.

— А за огород так не помню, как и перенесло. Гляжу — передо мной дедушка стоит: маленькой, сивой, лыком подпоясан. Пойдем, говорит. Ну я с им и пошел.

— Так один был-то? — спрашивают.

— Нет, — отвечает, — с нами много народа ходило. По лесу все шли, по буреломине, речки сколь раз перебродили. Коли маленькая речка попадет, так дедушка возьмет за волосье да и перекинет на тот берег. А коли большая река, так сам поперек ее ляжет, мы по нему и идем, как по мосту. Потом я огород увидел да рукой за него и захватился. Сзади как зашумит, зашумит ветром! Чую, елки с кореньями выворачивает, да все и сгинуло. Тут я поскотину свою узнал да и потопал домой.

Невероятно! Конец двадцатого века, люди собираются на Марс, пятиклассники спорят о тайнах Бермудского треугольника, и — нате вам! — дедушка, самый тривиальный леший, лыком подпоясанный. Смеется он надо мной, что ли? Я пристально посмотрел на Золина. Валентин спокойно встретил мой взгляд, голубые глаза его улыбались лукаво. «Разыгрывает!» — успокоился я, хотя какое мне, в сущности, дело, верит Золин в лешего или нет!

Валентин ловко пристроил удилище на камнях и опустился на облизанный водой валун.

— А все-таки, — не унимался я, — если верить в него, как в лес ходить? Страшно! Вдруг покажется!

— Да пошто страшно-то? — удивился Валентин. — Дедушко порядок любит. На шальное не делай, вот и не страшно. Страх, он ведь от чего идет? От худой совести либо опять же от дурости. Вон у нас, сказывают, Семен Назаркин одинова

шел по лесу с лопаткой, что косу-то наставляют, да на медведя на сонного и попал. Так чего и сделалось с мужиком: на загривок медведю заскочил, да и давай лопаткой по башке колотить! Медведь ошалел, в кусты шарнулся, орет благим матом. Семен, конечно, свалился, домой побежал. На другой день волосье у него с головы и полезло пластами, чисто колено голова стала. От запоздалого страху.

Войну тоже возьми. Помню, мы и на передовой еще не бывали, обучались в лагере. Вот утром поднимают всю роту, построили, повели. В лес зашли, а там весь наш полк выстроен вроде буквы «П». Вытолкнули на средину двоих парней и читают нам по бумажке постановление трибунала: за дезертирство приговорить к расстрелу по законам военного времени. Им, вишь, срамникам, на передовую страшно показалось идти, струсили, да и подались ночью в тыл. Вот лопаты им в руки сунули: копайте. Копают тихонько. Ну, тяни не тяни, конец известный. Поставили на краю ямы, напротив — взвод автоматчиков. Один не выдержал, свалился, корчится на земле со страху, как червяк, голову в траву зарывает. Другой тоже зеленый, а стоит. Взводный крикнул: «По изменникам Родины! Огонь!» И все. В яму кинули, закопали, как падаль. Я возьми да на себя и прикинь: вот бы я убежал? Ну ладно, расстреляют дурака, а домой-то какую бумагу пришлют? Не напишут, что «пал смертью храбрых». Выходит, не только свою совесть замараешь, а и у всех родных, до скончания веку! Нет, думаю, лучше уж от немецкой пули умереть, чем от своей. А оно и верно, когда совесть чиста, страху помене, это уж я потом точно узнал, на передовой. Так и в лесу. Коли худого за собой не чуешь — чего бояться?

— Мне-то что интересно: если ты в лешего веришь, значит, и в бога веришь? А замечаю, не молишься...

Валентин от души расхохотался:

— Дался тебе дедушко! Я ведь не знаю, может, и нету никого. Только иной раз подумаешь: не может того быть, чтобы все кругом на самотек пущено было. Молитвы, иконы — это все, я понимаю, пустое. Через них совесть вроде как чистили, мыли, что тело в бане.

Скоро Валентин стал сматывать удочку.

— Приходи на уху! — неожиданно предложил он.— Али дела какие?

Я отрицательно покачал головой.

— Ну и я говорю: отпускник, так какие у него дела заняться? Лови рыбу, вот и все дела. Часок побулькаешься, да и приходи, в аккурат уха сварится.

Бесплодно промаячив у плотины часа полтора, я подался на уху к Золину. Дом его стоял на отшибе — небольшой, плотно обшитый вагонкой, затененный по фасаду длинноногими березками. Вся усадьба обнесена косым огородом. В пяти

шагах от крыльца серел сруб колодца, а за краем картофельных грядок приткнулась небольшая банька. У просторного хлева белели плотные поленницы березовых дров.

В дверях золинской избы оглушил лай двух собачонок. Одна из них сразу же смолкла после окрика Валентина, а знакомый уже Шарик еще долго «бранил» меня, не обращая внимания на упреки хозяина.

Места в избе, вопреки ожиданиям, оказалось немного. Крохотная прихожая с лазом на печь и с кроватью у окна отделялась от «чистой» комнаты узенькой дощатой переборкой, оклеенной выцветшими обоями. В «чистой» комнате к другой переборке, загораживающей маленькую кухню, привалился диван. В углу на столике мерцал темным экраном телевизор «Рекорд». Стол, стулья, невысокий пузатый комодик, на котором лежала пачка старых журналов «Наука и жизнь», — вот и вся обстановка.

Из кухни, тяжело переступая больными ногами, выплыла низенькая старушка с круглым белым лицом и внимательными строгими глазами. Она степенно поздоровалась, опустилась на краешек дивана. Я ждал обычных в таких случаях расспросов о том, к кому приехал да откуда родом, где живу и сколько зарабатываю, однако старушка сидела молча, с безучастным, как бы отсутствующим видом. Подумав, что явился не вовремя, я хотел было подняться, но Валентин, уловив это движение, махнул здоровой рукой:

— Погоди, погоди, я сейчас!

В своем доме он тоже вроде переменился: стал суетливее, чаще сыпал словами, то и дело обращаясь глазами к матери, словно спрашивая, то ли он говорит. Поставив на стол большое блюдо ароматной ухи, Валентин нарезал хлеба, ловко управляясь одной рукой с ножом и буханкой.

— Давай, рóдная, садись, ушка-то горячая, славная! — ласково уговаривал он старуху.

— Да сяду я, сяду, ешьте сами-то! — ответила она, с трудом вставая и придвигаясь к столу. Несмотря на немощь, на маленький рост и молчаливость, от нее истекала сила и властность.

— Давно в этом доме живете? — спросил я.

— Да как Валька с войны пришел, перерубил старую-то избу, так все и живем, — ответила старушка.

— А рóдная велела: на что нам, говорит, экую хоромину? Надо бы помене срубить, все потепляя. Вот и занялся с мужиками, лесу на подруб привезли, старый дом раскатали, стали строиться. А время-то было — вспоминать неокхота. Ладно, я еще тогда лесником работал, на зарплате, да и налоги помене. А вон сосед наш, помнишь, рóдная, Гришку-то Крутикова? Который в Воркуту уехал?

— Да как не помнить!

— Шубутной мужичок такой, веселой! Одинова барана сгонил на мясозаготовку. В те поры мясо, сколь с тебя присчитается, сдашь бесплатно, а коли сверх того, так деньгами доплачивали. Вот и дали ему за барана-то пятерку старыми деньгами. Сунул пятерку в кошелек, поехал домой. Приехал, а в избе два агента сидят, денежный налог собирают. У тебя, говорят, Григорий, недоимка. Он и полушубок снять не успел. Сел на лавку, руками развел:

— Вот оказия! Что бы вам, робята, раньше-то приди! Ведь позавчера полный пестерь денег корове вывалил! Сыро больно в хлеву-то, пришлось вывалить на подстилку, а теперь так и нету ничего. Вот оказия! Много ли недоимки-то?

— Пятьсот рублей,— говорят.

— Гли-ко, пять сот! Вот оказия! Что бы вам на два-то дня пораньше... Ну ладно, я вот за барана сегодня получил, так уж возьмите.

И вытряхивает, срамник, пятерку на стол...

— Это какие же годы?

— Да сорок восьмой ли, сорок девятый. Я тут, родная, Мишку Назаркина встретил на овсяном поле, из лесу идет. Поздоровался. Давай, говорит, закурим. Ну давай. А овес-от зелень зеленью, я и скажи: не вызреет нонече, все пропадет. А он рукой махнул: да и пусть пропадает! Хлеба-то привезут. Вот на корову не накосили, так худо!

— Виши, прохвост! — осуждающе покачала головой старушка.

— Думаешь, одни деревенские так-то? — обратился уже ко мне Валентин.— Не-ет. Я, к примеру, с туристами согрелись. Едут и едут к озеру, срамники, да все у моего сеновала палатки ставят. Им чего, видят — сено сухое, надергают да под палатку, к костищу, чтобы, значит, помягче. Замнут все, затопчут, а того в уме нет, что накосить-то да высушить по нонешнему лету не просто. Когда захвачу, так побранюсь, а сено-то не вернешь! Знак уж на берегу ставил: «Обработано ядохимикатами. Опасная зона!» Вроде помене стало, а все носят, срамники.

Слушая Валентина, старушка согласно кивала головой. Я только теперь обратил внимание, что население золинской избы как бы увеличилось. Кроме Шарика и Дамки — так звали вторую собаку,— у стола сновали три разномастные кошечки: рыжая, черная и серая.

— Большое у вас хозяйство! — заметил я, кивнув на них.

— А пусть! Родная их любит, да и мне веселяя.

Он взглянул в окно и обратился к матери:

— А ведь я, родная, угадал! Кругом заволокло, сейчас польет. Утром косить посыпала,— объяснил он мне.— А я говорю — попусту, дождя нагонит. Так и есть.

— Не зря, видно, меня все утро ломает,— согласилась старушка.— Идти полежать маленько...

Она с трудом поднялась и, шаркая ногами, убрела в кухоньку.

— По рыжики не бывал у нас? — спросил Валентин.

— Мест не знаю — какие рыжики!

— Давай свожу, как охота. День все одно пропащий, может, хоть соленинки принесем.

Я с готовностью согласился, так как много слышал о необыкновенных грибных угодьях озерного края. Для очистки совести спросил:

— Не зальет нас?

— Какое! Виши, затянуло. Моросить станет разве. А и ленет, так не сахарные, не размокнем.

— И то правда,— подтвердил я, натягивая бродни.

Валентин перекинул через плечо плетенный из бересты короб на ремне, а мне протянул небольшую узорчатую корзинку. Шарик юлил у ног, чуть не переламываясь пополам,— просился в лес.

— Возьмем Шарика, возьмем! — приговаривал Золин.— Ой, что делает, срамник! Охота в лес? Ну пошли давай!

Грибов в тех местах, куда повел меня Валентин, и в самом деле росло много. Правда, на пять-шесть рыжиков попадался только один ядреный, но все-таки корзина час от часу тяжелела. У приболотья наткнулись на семейство темных крепких грибов.

— Черные грузди,— сказал Золин, сломив гриб и разглядывая его.— Я их раньше не знал, все пинал, как попадут. А начальник один из района приехал... меня все с начальством в лес посылают, как кто приезжает,— пояснил он с заметной гордостью,— гляжу: ломает их да в корзину, ломает да в корзину. Я ему и скажи: «Пошто берете-то? Ведь это поганки!» А он мне: «Сам ты поганка! Это — самолучший гриб!» Так и сказал: «Сам ты поганка!» — с удовольствием даже заключил Валентин, будто начальник объявил ему благодарность.

Корзинка почти наполнилась, когда мы с Валентином, изрядно промокшие, выбрались на светлую вырубку, вопреки обыкновению чисто прибранную. Сплошные дождевые тучи снова раскололись, пропустив в прогал солнце и клочок пронзительно чистого неба. От одежды, от разогнутых бродней повалил пар.

— Перекурим? — предложил Валентин, проведя ладонью по гладкому, будто лаковому, срезу пенька.

Неподалеку взляял Шарик, суматошно захлопали крылья — целый выводок рябчиков сорвался с ягодника, перелетел в лес.

— Не охотишься? — поинтересовался я у Валентина.

— Нет, какое! У меня и ружья сроду не водилось.

— Из-за руки?

— Рука — что! Было бы желанье, и с моей рукой палить можно. Не любитель.

— Понятно...

— С войны еще отбило желанье-то. На войне я ведь снайпером был.

— А вроде рассказывал, что в пехоте служил.

— Так и снайпер, считай, тоже пехота. Когда еще обучались на стрельбище, капитан меня приметил и в снайперы определил. Самая беспокойная на войне работа. Пошлют тебя на нейтральную полосу с заданием, только стрельнешь, а немец-то и давай чесать из чего ни попадя: из пулеметов, минометов — свет белый не мил сделается.

— У снайперов, кажется, личный счет был?

— И у меня был. Восемнадцать человек положил. Сперва-то все вроде не взаправду: поймаешь фигурку в прицел, нажмешь на спуск — только была да нет. Не по кой леший тебя к нам и принесло, думаешь. Только одного убил как человека, по злобе.

— Как так?

— Дело под Котельниковым вышло. Посылают меня опять на нейтральную полосу, на сей раз как бы в разведку. Степь, кустика не видать, в землю зарываться — одно спасенье. На рубеж ночью выполз недалеко от перекрестка дорог, окопчик вырыл, замаскировался, лежу. Задание простое — засекать огневые точки. Лежу, значит, наблюдаю. Ближе к утру немец-то и зачал палить изо всех калибров. Потом танки с пехотой поперли. Наши побежали, а я в безвыходном положенье, раз на нейтралке. Только нос высунь, кряду пулю и склопочешь. Делать нечего, притаился. Живым, думаю, не дамся, а до ночи авось пересижу, ежели не набредут на меня. Скрозь траву вижу: замаячил на перекрестье дорог часовой. Мне-то добро его видно, окопчик недалеко. Ходит козырем, рукашки закатаны, автоматиком поигрывает. Кругом — шаром покати: атакующие вперед ушли, а тылы не подтянули пока. Немец на воле-то, без начальства, и раздухарился. Топчется, срамник, по перекрестку, то песню запоет, то на губной гармошке поиграет, а то автомат вскинет да очередью по степи! Пугает, стало быть. А кого пугать, степь голая, меня-то ему не видно. Уж после догадался, что это он страх свой ублажает: оно хоть и с автоматом, и в тылу, а все чужая земля — вот ему и неспокойно.

Надоели мне этот часовой хуже горькой редьки. Главное, пошевелиться нельзя, заметит, а затекло все тело, мочи нет. Как ни погляжу, он все на дороге выплясывает да песни поет. До вечера дотерпел-таки. А тут справа слышу: «Ура!» и стрельба несусветная, наши, значит, в контратаку идут. Немец-то забегал. Туды-сюды, туды-сюды, потом как драпанет со своего поста, только каблуки засверкали. Ну, думаю, гад,

не уйдешь! На мушку его взял, он, как щи пролил, тут носом и ткнулся. И скажи, всю ночь не по себе было: противно вроде и жрать не могу. А ведь не первый он у меня был. Может, оттого что песни передо мной пел?

Вскорости после этого я и сам нарвался. Мина саданула неподалеку, весь бок рассадило, да и руку в трех местах перебило, еле сшили. Так и отвоевался.

— Значит, восемнадцать человек?

— Восемнадцать. Чего сделаешь, надо. Не мы их, так они нас, тут дело такое. А с войны пришел, чисто отшибло меня от оружия. Зарок дал: больше капли крови не пролью. Так вот уж больше тридцати годов живой души не порешил. Курице голову и то не рубливал, соседа зову.

— А рыба? — пошутил я. — Тоже живая!

— Да это, вишь, другое дело, — серьезно ответил Валентин. — Я, к примеру, язенка не убиваю. Дело его: хошь бери наживку, хошь не бери. Его воля. А будь я сейчас с ружьем да пальни в рябка, прямое убийство выйдет, потому как не рябок выбирает, а я. Не по своей воле он умрет, а по моей, вот в чем заковыка.

— Другие стреляют, не задумываются.

— То другие. Другие мне не указ, и я им не указ. Ежели душа этого не принимает, так ничего не поделаешь. Ты вот не ешь чего-нибудь?

— Чего? — не понял я.

— Ну, люди, бывает, не едят кто рыбу, кто грибы, кто там помидоры...

— А... Свеклу не ем.

— Вот и мне — охота, что тебе — свекла, — засмеялся Валентин. — Хоть заугощайся — не хочу. Давай-ка еще одно место проведаем, да и домой.

Хозяйка моя нескованно обрадовалась как с неба свалившейся корзине рыжиков. Узнав, что я был в лесу с Золиным, похвалила его:

— Валентин места знает! За клюквой ли, за морошкой — бабы все его просят: своди да своди! — Она вдруг весело улыбнулась. — По год рыжики не росли, а мы глядим — Валентин прет располнехонькой короб. Пристуились: скажи да скажи, откуда принес. «А от Ванского болота, бабы!» Мы, дуры, и побежали за три-то километра, да все попусту. Он, мазурик, в короб моху наклал, а сверху рыжиками закрыл. Долго хохотали потом.

Несколько дней я не видел Золина: установилась погода, он дневал и ночевал на своем покосе. Накануне отъезда потянуло пройтись с удочкой до золинского сеновала, порыбачить, а заодно и попрощаться с Валентином. Встал я до света и часов в семь добрался до знакомого омута. Закинув удочку и воткнув конец удилища в илистый берег, неторопливо стал

пробираться к луговине, обходя залитый росой ивняк. Сквозь кусты уже чернел знакомый приземистый сеновал, когда меня остановил голос Золина.

— Да долго ли такое будет-то! — неслось с луговины.— Чего глаза растопырил, не стыдно? Срамник! Я тут с одной рукой маюсь, а вам лишь бы затоптать, лишь бы запакостить! Гли, сколь сена-то набил под палатку! Куда оно мне теперь! Взять бы тебя, срамника, за шкирку да в воду!

Я осторожно выглянул из-за кустов. Маленький Валентин как петух наскакивал на дебелого детину в очках, который стоял возле модерновой польской палатки. И под палаткой, и вокруг старого костища лежали охапки отсыревшего, мятого, подпаленного сена, притащенного сюда, видимо, из сеновала.

— Ты не шуми! — вполголоса увещевал Золина детина.— Не шуми. Чего твоему сену сделалось, ну чего?

— Того! Оно теперича скотине и на дух не надо! Да кабы один был, так ладно. А то ведь каждый день, паразиты, у сеновала устраиваются, места им, срамникам, в лесу мало! Сеновал полный набил — гляди, половина осталась!

— Ну полно, полно! Давай вот присаживайся, закусим, да и поговорим...

Валентин еще ворчал для порядка, пока детина развязывал рюкзак, доставал из него колбасу, консервы, бутылку коньяку, но сопротивление его, по всему видно, было сломлено. Вскоре они выпили по стакану и заговорили, будто давнишние приятели. Я повернулся и тихо спустился к реке. На душе было скверно.

Сматывая удочку, я вдруг обратил внимание, что вода стала спадать. Она обнажила несколько самых больших валунов на перекате. По гранитному лбу одного из них черно змеилась трещина. И донные валуны, оказывается, не вечны. Их тоже перебарывает течение...

У РАЗВАЛИН

Дом стоял не у подножья холма и не на вершине его, а посередине, будто усталый старец, у которого не хватило сил дойти до цели. Он и впрямь походил на старика, немощного и седого: фасад по подоконники вдавился в землю, заколоченные окна незрячими бельмами уставились на дорогу, черная крыша местами поросла плесенью и уродливо сгорбилась. Тучная зелень скрыла следы тропинки, и не понять было, с какой стороны раньше подходили к крыльцу. На самом же крыльце угнездились ядовито-зеленые кустики молодой крапивы.

До сего дня Александр Михайлович бессознательно обходил стороной ссугутившийся и одичавший дом, который мать никак

не решалась продать, хотя давно не жила в нем. Большой и сильный человек, он был беззащитен перед грудой трухлявых бревен, а чувство собственной беспомощности всегда выбивало его из колеи. Сегодня он тоже не собирался идти к старому дому и не пошел бы, если бы не попал с утра вправление колхоза.

Председатель принял его сухо, кивнул на стул, не прерывая разговора с партторгом. Спорили они о том, сколько тракторов и машин надо перебросить во вторую бригаду, чтобы скорее кончить силосование. В кабинет то и дело входили люди: степенный бухгалтер, смешливая девушка-зоотехник, знакомый Александру Михайловичу экономист, багроволицые механизаторы. Все они кивком головы здоровались с Александром Михайловичем и, казалось, тут же забывали о нем. Минут через двадцать председатель споткнулся глазами о его фигуру, равнодушно спросил:

— У вас что-нибудь срочное? Нет? Извините, совещание механизаторов проводим, начальник управления вот-вот подъедет.

Отвернувшись, он снова занялся своими делами, всем видом показывая, что ему сейчас не до праздных посетителей. Александр Михайлович уже давно чувствовал себя лишним в конторе, а сейчас ему стало просто неловко оттого, что мешает занятым людям. Он осторожно поднялся и пошел к двери. Никто не остановил его.

«Чужой стала деревня,— с грустью подумал он.— Ничем я им тут не помогу, да и не нуждаются они в моей помощи...»

Он слегка покраснел, вспомнив про утреннее тщеславное чувство, про то, как намеревался предложить председателю свои услуги на время отпуска, и ноги сами понесли его к родительскому дому. Ногой сбив с крыльца кустики крапивы, присел на прокаленные солнцем, крепкие еще плахи. Напротив крыльца сиротливо торчал кол, чудом уцелевший от невесты когда разобранного огорода. Чуть поодаль, посреди бывших картофельных грядок распустилась береза. Сколько он помнил себя, береза всегда была такой: веселой и крутобокой.



Дом отец собирал сам из сруба, купленного в дальней деревне. Каждая половина в нем была знакома, а все вместе они чудесным образом пахли материнскими руками и ржаным хлебом. Теперь, сидя на крыльце, Александр Михайлович чувствовал вину перед домом, перед его дряхлостью и одиночеством, и осуждал себя за то, что не мог, как отец, перебрать этот дом по бревнышку, вставить новые рамы, заменить стропила и настлать крышу. Не мог, если бы даже захотел, потому что давно забыл, как держат в руках топор.

Он поднял голову. Все вокруг было родным и в то же время — чужим. Поблескивала в ложбине река, берега которой в детстве знал до последнего камня. Они как-то, почти неприметно, изменились. Знал он, бывало, и каждую тропинку в бору за рекой, а вчера чуть не заблудился в молодом подросте. Даже небо здесь вроде стало другим, не похожим на то, какое помнилось из детства.

И вдруг неуютно показалось на отцовском крыльце. Он резко поднялся и торопливо спрыгнул, вбив каблуками в землю густую траву. Шел прочь, сутулясь, и не смел оглянуться. Мнилось: оглянись — и увидишь, как старый дом обиженно плачет, щуря незрячие глаза.

Дорога, спускаясь с холма, круто изгибалась, проходила мимо сельсоветского магазина и скатывалась к реке. Александр Михайлович в раздумье постоял у магазина, потом поднялся по щербатым ступенькам и потянулся на себя тяжелую выкрашенную в синее дверь. Внутри было сумеречно, прохладно. Несколько человек стояли в очереди у прилавка и, как по команде, повернули головы на скрип двери. Взглянула и продавщица, держа на весу совок с сахарным песком.

— Здравствуйте, — стесненно сказал Александр Михайлович, смущенный столь пристальным вниманием.

— Здрастуй, батюшко! — ответила ему одна из старушек.

Он подошел к прилавку и стал разглядывать заставленные всякой всячиной полки, изредка косясь на людей. Удивительно, что он не увидел ни одного знакомого лица.

«Чего же тут странного? — тотчас поправил себя. — Семнадцать лет не был!»

Повернувшись к очереди, продавщица снова посмотрела на него, пристальнее, чем прежде. В тот же миг он подался вперед, оперся кулаком о прилавок. На лице женщины мелькнула растерянность, губы задрожали в жалкой, неуверенной улыбке, но глаза уже вспыхнули торжеством, и в их искрящейся голубизне Александр Михайлович явственно, как в книге, прочел:

«Вспомнил?!»

Он смешался, потупил голову и, неловко потоптавшись на месте, быстро пошел к выходу, понимая, что она провожает его глазами, в которых нет сейчас ничего, кроме недоумения.

Еще бы ему не помнить Наташу из Сосновки!

С первого до седьмого шли они в одном классе, и уже в шестом заглядывались на нее парни-переростки. А через два года...

«Да, через два. Точно. Шестнадцать мне тогда стукнуло. На жнейке работал...»

* * *

...Лошади шли спорым, но ровным шагом. Деловито крутилось мотовило, пригибая к ножу белесые с желтизной стебли. Солнце вышло из-за гряды волокнистых облаков и кинуло нежаркий поток света на семью высоких сосен, что грудилась на другом конце поля. Вот там-то, у поля, и заприметил Сашка сперва мечущуюся девичью фигуру, а потом с десяток проворных белолобых телят. Взбрыкивая ногами, телята ловко спасались от своего пастуха в густой ржи.

— Ты что, полоротая! — крикнул Сашка девчонке и побежжал выгонять телят.

Вдвоем они выдворили веселых бычков за изломанный огород, а уж тогда только признал он в телятнице свою одноклассницу.

— Наташка! Я-то думаю, кто это скотину на потраву пустил?

— Ну, Санька, и глотка у тебя луженая. Напугал, страсть!

— Сказывали, уехала ты из деревни?

— Как уехала, так и приехала. Второй месяц за телятами хожу.

— Не поглянулось в няньях-то?

— Да ну тебя! Не в няньки и ездила, а к дядьке в Воркуту. Думала в техникум поступать.

— Не поступила?

— Сам видишь...

Наташа потупилась и стала чертить прутиком мелкие полосы на утоптанной дорожке. Потом вскинула глаза, и Сашку вдруг с ног до головы обдало жаром. Хороша была Наташка!

— Ну, чего стоишь? Кони, поди, заждались.

— Погодят. Приходи на игрище к нам.

— На твою пляску глядеть?

— А хоть бы и на мою.

— Не стоит дорогу топать. Поди, поди, вон председатель шагает, даст он тебе пляску!

Сашка вразвалку, не торопясь, шел к жнейке, а в глазах все стояла она, в повязанном по-старушечки платочке, из-под которого сбегала на грудь русая витая коса.

* * *

...Как-то раз он попытался представить себе тот ядреный сентябрьский день, чтобы хоть на минуту перенестись в него из своей прокуренной, осточертившей конторы. И — не смог. С отвращением оттолкнул груду сводок, откинулся на спинку стула, прикрыл глаза, но видение все не приходило, лишь в уши еще назойливее лез гул и скрежет тяжелых машин, проползавших по мостовой. Взглянув на свои белые дряблые руки, тяжело лежавшие на столе, он как-то отчетливо понял, что молодость ушла. Не вернешь, хоть криком кричи...

«Потом еще воскресник был,— вспомнил Александр Михайлович, выходя на берег реки.— Позже всех я на него явился».

Почему он опоздал на воскресник? Проспал, кажется. Девчата у скотного двора встретили его смехом:

— Долго спиши, жених!

Они ловко орудовали вилами, накладывая тяжелые пласти пахучего навоза на тракторные сани. Отшучиваясь, Сашка отобрал у кого-то вилы и сразу по звонкому смеху угадал, что Наташа где-то здесь, в озорной девчачьей гурьбе. Азартно вонзил он вилы в сочную, переплетенную соломой массу и стал кидать ее на сани, с удовольствием ощущая, что мускулы упруги и крепки, что сам он молод и свой среди шумной стайки девчонок, с которыми вместе рос, вместе купался и вместе воровал горох в колхозном поле. Когда сани были нагружены, он подошел к Наташе. Она стояла раскрасневшаяся и довольная, капельки пота мелко поблескивали на крутом лбу.

— И ты пришла?

— А я что, рыжая?

— Еще лучше. Красивая ты,— сказал он совсем тихо.

— Не ври! — она смутилась и покраснела.

— Поедем сгружать?

Наташа кивнула головой. Трактор, урча, дернулся. Все, кому захотелось прокатиться в поле, повскакали на сани, держась за черенки вил. За ревом трактора не было слышно ни слова, и девчонки, лишенные возможности болтать, стали толкаться. Улучив момент, они навалились на Сашку и прямотаки сбили его в рыхлый податливый снег. Падая, он успел ухватиться за Наташину телогрейку, и оба утонули в снегу под восторженный визг девчонок.

— Вот уж теперь я тебя не отпущу!

— Отстань, Сашка! Я ведь тебя не толкала!

Смеясь, Наташа отбивалась от него, а потом, изловчившись, бросила в глаза горсть снега. Он прижал ее всем телом и, не стряхивая снег, поцеловал румяное, смеющееся лицо. Наташа сразу вырвалась, выскочила на тракторную колею.

— Бессовестный! Девки вон все видели.

Сашка шел позади грустный оттого, что она обиделась, и счастливый от своего первого, снежного поцелуя...

«Как хорошо все было! И как давно! — вздохнул Александр Михайлович, опускаясь на травяной холмик у реки.

Он поглядел вдаль на три старые березы, будто шагавшие друг за дружкой по берегу.

Так же стройно шагали они и в ту неестественно светлую ночь. Белые руины церкви призрачно дремали на стыке зорь. Мягкий туман кипел над речной ложбиной, с травы скатывалась роса, холодная и крупная, как горох. На дороге дышала теплом сомлевшая к ночи пыль. И тишина, какой не бывает в городе, плотно сплелась с полумглой.

Наташа еще стеснялась его, рослого широкоплечего парня. Когда он бережно поцеловал девушку, она прильнула лицом к его груди, попросила чуть слышно:

— Не надо больше, Саша.

И словно извиняясь, добавила:

— Я ведь первый раз так. Как с тобой.

— Наташенька! Вот уедем мы с тобой отсюда...

— Уедем? Зачем? — удивленно перебила она.

— Как зачем? Все в город едут. Только бы справку достать, а там не пропадем! Чего мы тут забыли? Палочки в книжке?

— Может, и полегче будет, Саша. Война-то давно ли кончилась. Потерпим. Я недолечко в городе пожила, а как-то зачаяла вся. Каждый денечек речку нашу вспоминала. И дом здесь, отец с матерью. Трудно, да что сделаешь? В сорок шестом, помнишь, какая голодуха была? Пережили ведь...

— Да ты подумай путем! В городе-то учиться можно. Институт какой-нибудь кончить. На людей хоть поглядеть, а то так и проживешь лаптем.

— Кабы только поглядеть... А то ведь — жить надо.

Слегка касаясь, он перебирал пальцами ее тяжелую косу.

— Все равно возьму вот я тебя сейчас, Наташка, да и унесу.

— Куда?

— За тридевять земель, в тридесятное царство.

— А может, и унесешь. Ты ведь сильный...

«Эх, ошиблась ты, Наташка! — думал Александр Михайлович. — Не нашлось во мне такой силы. Поймала ли ты свое счастье? Нет, верно, у тебя такой вот душевной пустоты. Семья, дети... Я тогда думал, что прав на все сто процентов. Да и голодно было в деревне, что верно, то верно. Что ж... Повидать я и в самом деле успел немало. И грузчиком поработал, и подсобником на заводе, и у станка. Пальца успел лишиться, хоть ни на фронте, ни в армии не был. И десятилетку вечернюю закончил, и институт. Все, как запланировано было. А полюбить, кроме деревни, ничего не сумел. Разве что свой станок на заводе, еще до института. Один станок, а кроме — ничего и никого. Может, права-то была тогда она, Наташка?»

Александр Михайлович вспомнил длинный Суворовский проспект, по которому тысячи раз проходил из дома в контору и обратно. Зимой вдоль проспекта дул ледяной ветер, летом обдавали гарью бесконечные вереницы автомобилей, и всегда — грохот, многократно отражающийся от стен высоких серых домов. Видение на минуту заслонило и речку, и бор на том берегу, и бездонное небо. Чтобы страхнуть с себя оцепенение, Александр Михайлович встал и спустился с покоса на мост.

«И убежал я отсюда как-то неожиданно, нелепо. Приехал из Сибири Мишка Буркин. Ну и...» — даже сейчас, через столько лет, он поморщился.

* * *

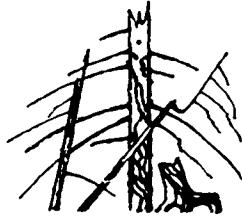
С Мишкой они условились ехать в Сибирь вместе. До самого отъезда он так и не решился сказать об этом Наташе, боясь, что та отговорит его, заставит передумать. Поздно вечером, накануне бегства,— потому что как еще можно это назвать? — он пришел к реке, на любимое свое место, разделся и долго плескался в темной, как деготь, воде. Но и после купания ощущения свежести не было.

Возвращаясь домой, Сашка неожиданно увидел впереди белую девичью фигуру. Чутьем угадал он, что это — Наташа, и торопливо прильнул к стволу березы, опасаясь, что она оглянется и заметит его, а тогда неизбежно объяснение, слезы... Так и стоял, пережиная.

А Наташа легко шагала по пыльной дороге, положив на плечо грабли, видно, шла с покоса домой. Наконец ее легкая фигурка смешалась с полумглой. «Завтра, перед поездом попрощаюсь!» — попытался успокоить себя. Но и перед поездом попрощаться не удалось, Наташа снова ушла на сенокос. Потом, когда она не ответила на одно из его писем, переписка сама собой заглохла, оборвась...

Вдруг Александр Михайлович остановился. Мысль, которая только что пришла в голову, неожиданно поразила его своей простотой и значимостью. «А ведь это первая любовь у меня была, Наташка! Ведь ее мне и не хватало всю жизнь, ее! Выходит, предал я ее, свою первую-то!.. А предателям нет прощения...»

Александр Михайлович снова остро, всем существом ощутил мучительное желание повернуть время вспять, хотя и знал, что не может повернуть его, как не может заново, по бревнышку перебрать старый, завалившийся отцовский дом.



КРЕМЕШОК

ПОВЕСТЬ



Вот говорят,
Что скуден был паек,
Что были ночи
С холодом, с тоскою,—
Я лучше помню
Ивы над рекою
И запоздалый
В поле огонек.

Н. Рубцов

1

Вместительным получился фанерный чемоданчик. Смастерили его брат Анатолий за два вечера после сенокоса. Все честь честью: крышка на петлях, закрывается висячим замочком, бока и стенки черной краской выкрашены, издали — совсем настоящий чемодан. Влезли в него и учебники, и камни из коллекции, и две пары бельишко, рубашка, кулек оладий, рыбник, кружка, ложка, да и место еще осталось. В самом углу, под рубашкой, — деньги, триста рублей, самим заработанные, завернуты в газету. Это — на жизнь в Ухте. Да в кармане пиджака сто пятьдесят. Сто сорок рублей билет стоит, ну и десятка — так, мало ли, пирожок в дороге купить.

Месяц назад условились: перед отъездом у Леньки встретятся. Первым, утром рано, заявился Коля Трубкин, кучерявый, веселый, сразу заторопил:

— Ты чего? Раздумал? Поезд скоро, а он все босиком шлендает!

— Не егози! Поезд-то в четыре часа. Все вызубрил?

— Не смеши! Стал сряжаться, учебники как сквозь землю провалились, не знаю, в котором месте и лежат. Только-то где? Опаздает, тюха, пить дать, опаздывает!

Толик несмело переступил порог, когда стрелки на ходиках к трем подползли: Через минуту и Алик дверью стукнул.

— Ну, мам, двинули!

— Погоди маленько, бабку Дуню кликну с робенком проводиться да провожу.

— Не надо, мам! — огорчился Ленька.— Меня Алик проводит. Все без провожатых, а я что — маленький?

Мать улыбнулась одними глазами, потом всплакнула, и Ленька торопливо, неловко обнял ее.

— Чего там! Не на войну. Может, отпустят после экзаменов...

Высвободившись из материнских рук, глотая комок в горле, кивнул ребятам, подхватил фанерный чемоданчик. На крыльце мать прижала концы платка к глазам.

— Гляди, тихонько там, в чужих людях...

Странно чувствовал себя Ленька, шагая на станцию. И весело ему было перед дальней дорогой, и тревожно отчего-то, и грустно. Украдкой взглянул на соседские окна. У одного, раскрытою настежь,— Катя. Заметив ребят, прощально помахала рукой, крикнула:

— Счастливо! Ни пуха ни пера!

— К черту! — улыбаясь во весь рот, ответил Колька, а Ленька попросил глазами: пиши! Катя кивнула, поняла.

На станции знакомая кассирша долго выписывала билеты, обстригала их ножницами. Колька даже заприплясал от нетерпения. Кроме них ждали поезда двое мужиков да бабка с котомкой за плечами. А вот и он показался из-за поворота, долгожданный поезд Москва — Воркута. Застучал тарелками буферов, ощетинился широкими деревянными подножками. Ребята бросились к восьмому вагону: стоянка две минуты всего, проморгнешь и тю-тю! — маши вслед пропавшим билетом. Добежали, успели. Ленька даже руку Алику умудрился пожать в суматохе, попрощался. Только в вагон забрались, дернулся пол под ногами, поплыл в окнах родной поселок...

Не так-то просто в поезде устроиться: всем троим в одно купе надо, а нигде больше двух свободных мест не находилось. Сели в разных, Толик Углецов — отдельно.

— Не расстраивайтесь, в Коноше много народа будет, сгрудитесь! — утешил ребят черноволосый тучный мужчина.

Колька и до этого на него пристально поглядывал, а тут совсем осмелел, спросил:

— Дяденька, вы — комик?

— Какой я тебе комик! — обиделся дядька.— В цирке отродясь не работал!

— Да нет, — смущился Колька. — Я думал, вы с нами едете, в Ухту. А Ухта где? В Коми...

— Выходит, там одни комики живут? — развеселился сосед, и все купе покатилось со смеху.

С Трубкиным всегда в историю влипнешь. Вот после экзаменов фотографироваться в райцентр ездили. Все нормально, пока в железнодорожную столовую не сунулись. Перетаскали на стол тарелки с супом, с кашей, ложки, вилки принесли. Пока бегали, один стул от столика куда-то уплыл. Колька



и потянул, не глядя, стул за спинку от соседнего столика. А на этот стул машинист какой-то как раз садился. Ну и сел на пол, конечно. Вся столовая со смеху умирает, машинист вскочил, на Кольку с кулаками, а тот вместо «Дяденька, я нечаянно!» выпалил:

— Дяденька, я пошутил!

Чуть всем троим не обломилось за такие шуточки.

С людьми Трубкин сходился на удивление быстро. Вот и сейчас в купе сразу освоился, все рассказал, куда

едут и зачем. А ехали они в техникум поступать, на геологов.

— Техникум хороший,— одобрил наполовину седой мужчина со второй полки.— Только специальность выбрали неважнецкую. Всю жизнь по тайге болтаться, по буровым, по болотине, а гнусу там!! А ответственность? Шли бы вы, ребята, на эксплуатационное. Работа на действующих скважинах, заработки хорошие, жилье в городе. Чего еще надо?

— Нет, мы уж решились,— просто ответил Трубкин.— Мы — деревенские, комаров не боимся.

И опять все купе загрохотало. Толик услышал, что у них так весело, перебрался поближе, встал, загораживая проход, пока проводница не обругала:

— Путаются тут под ногами!

Леньке Колькины шуточки не по нраву. Да и то сказать, чего хорошего, коли над тобой все смеются? Они ведь тоже не комики, слава богу, а будущие геологи. Правда, слова седого мужчины, что всю жизнь по болотам придется ползать, задели. Хорошего мало, ежели по болотам, не больно-то их жаловал Ленька, клюквенные сырье бочажины. Неужто нефть по болотам только и водится? Все возможно, конечно, не зря

на любом болоте пятна найдешь с фиолетовыми разводьями, будто кто мазута туда плеснул...

Раздумавшись, Ленька уже не слушал, о чем рассуждает его одноклассник, уставился невидящим взглядом в окно, за которым нескончаемым зеленым полотном тянулся лес. С чего все началось-то у них? С пустяка будто началось, с того, что яму на берегу ручья выкопали по весне. Укрытие для себя хотелось сделать, ну и выкопали. Место выбрали укромное, пус-



тынное, берега у ручья крутые. Даже когда рыли землянку, не видно их было ни с реки, в которую впадал набухший талой водой ручей, ни с мостика на большой дороге — все скрывали крутые изгибы русла. Тогда-то и отыскал Ленька на дне ручья белый блестящий камень с алмазом. Долго любовались, а потом такая у них золотая лихорадка началась, не хуже чем у Джека Лондона. Самодельный ящик с верхом разными необыкновенными камнями набили. На ночь прятали его в нише одной из стен землянки, а вход в тайник маскировали досками. И все чаще стала приходить в голову Леньке идея...

Незадолго до выпускных экзаменов шепнул друзьям-семиклассникам:

— Сегодня в тайнике — сбор. Поговорить надо.

Приходили поодиночке. Раздвинули доски, влезли внутрь, устроились на самодельной скамье. Ленька брякнул без всяких:

— Предлагаю в горный махнуть. На геологов.

Друзья поначалу малость обалдели. Молчали, хмыкали. Вдруг Коля Трубкин как стукнет кулаком по колену:

— Думай не думай — сто рублей не деньги! Варит у Леньки башка! В горном стипендия хорошая!

— У геологов не жизнь — малина! — воодушевился Трубкин. — Шастай по горам, камушки разглядывай, а тебе еще зарплату платят, всякие там полевые да северные.

Ленька улыбнулся, толкнул Трубкина плечом:

— Куда деньги-то складешь? Чулок заведешь?

— Не... Я, робята, накоплю денег да женюсь. Надоело бобылем жить!

Чуть со скамейки не упали.

— Я дома пока ничего не говорил, — посерезнел Ленька. — Боюсь, прижмет братец. Мы ведь не колхозники — поселковские. Скажет: будет, поучился, шурой вкалывать на лесозавод! И все дела.

— Тайком уедешь!

— Тайком... Не выходит тайком-то. Свидетельство о рождении надо? Надо. Справку о состоянии здоровья? Опять надо. Фотокарточки... Крути не крути, узнают.

— Ну вот, сманил, а сам в кусты. Гидра! — проворчал Коля.

— Конечно, узнают, — рассудил Толик. — Лучше уговаривай, чтобы отпустили. Им-то что? Баба с возу — кобыле легче.

— Мне так нечего уговаривать, — похвастал Трубкин. — Мамке скажу — не пикнет. После того как отца убили, я ее вот так держу! — он показал кулак.

— Куда поедем-то? — озабоченно спросил Толик. — На Урал, может?

— Нет. В Ухту. Я объявление читал, там отделение есть, называется «геофизические методы разведки».

— В Ухту-у? Где это еще за Ухта такая взялась?

— В Коми. На воркутинском поезде добираться. Видишь, под Москву или там в Донбасс ехать — рискованно, все туда поступают. А в Ухту кто соблазнится? Она почти что у Полярного круга. Запросто поступим.

Вот так, с пустяков вроде началось...

До Ухты, сказывали, двое суток. Стало быть, завтра к четырем часам только-только полдороги минуют. Ну и хорошо, хоть на белый свет поглядят. Правда, поспать надо сообразить, в Коношке полки бы не проморгать.

Перед Коношкой все в вагоне зашевелились, будто муравейник потревожили. Засобирались пассажиры, корзины свои, мешки, чемоданы к выходу понесли, — многие здесь на архангельский поезд пересаживались. Все купе, в котором Толик Углецов устроился, освободилось.

— Давайте сюда, пока не заняли!

Живо перебрались и три полки оккупировали: две вторых, одну третью — под самым потолком — Трубкин облюбовал. Сунули на полки котомки, пиджачки свои, Ленькин чемодан, а сами уселись у окна за длинным столиком.

— Эх, жалко, карты не взяли! — сетовал Колька. — Сейчас бы в дурака врезать! А что, Толь, на крыше вагона можно в карты играть?

— Дуракам можно! — буркнул Толик.

— Не! Карты ветром сдует!

— Может, учебники почтаем? — нерешительно предложил Ленька.

— Да ну их! Гляди, причаливаем!

Такой большой станции ребята прежде не видывали. Вокзал выше любого дома в районе, кругом асфальт, и поезд подогнали к асфальтовой дорожке, под самыми окнами она оказалась, рукой дотянешься, если бы не стекло. Видно, как из их восьмого вагона люди выходят, а у двери толпа новых пассажиров ждет, волнуется. Посадка началась, и высокий парень, не спрашивая разрешения, в их купе сел.

— Далеко ли, огольцы?

— В Ухту.

— Почти что земляки. Мне — до Котласа. Картишки есть?

— Нет.

— Добудем! Сюда, сюда, гражданочка, ты только посмотри, какие тут симпатяги едут! Вот так, корзинку под лавку, хозяйку — на лавку. Далеко ли собралась?

— До Ухты.

— Ух ты! Вот тебе и попутчики до Ухты!

— Правда? — спросила коренастая симпатичная девушка, которую разговорчивый парень усадил в ребячье купе.

Он сразу чем-то не понравился, может, тем, что Ленька,

сам молчаливый, как и брат Анатолий, не любил развязных да разухабистых.

— Ты, значит, малец, пересядь туда, к ребятам, дай dame место у окошка.— Парень бесцеремонно взял Толика за плечо и пересадил на противоположное сиденье.

— Ну ты, поосторожнее! — огрызнулся Толик.

— Вы мне? Бунт на корабле? Мамаша, купе занято, проходи, не мельтеши. Вот так, мамаша, вот так! Ты, мальчик, значит, мне что-то хотел сказать? Или я ослышался?

— Не ослышался,— вмешался Колька, в котором взыграла деревенская солидарность.— Не больно тут командуй, а то склопочешь!

— Ай да мальчики! Ай да младенцы! — Он угрожающе понизил голос: — поезд тронется, как котят из тамбура выкидаю. На рельсы! Усекли, салаги!?

— А ежели тебя... из тамбура? — зло спросил Ленька.— Как кота паршивого...

— Замри, падла, по стенке размажу! — поднял кулак попутчик, но Ленька успел заметить трусливый огонек где-то в глубине его глаз. Все трое напряглись, готовые к схватке. Неожиданно парень резко изменил тон:

— Сидите, не трону. Надо жить в мире, верно, Галочка?

— А я не Галочка! — улыбаясь, ответила соседка, которую вроде забавляла неожиданная перепалка.

— Значит, Ниночка.

— И не Ниночка...

— Скажите имячко,— ворковал парень, придвигаясь к соседке, тесня ее к окну.

— Угадайте...

Леньку удивило, что девушке вроде бы нравились приставания нахалюги. Ну и ну! Да любая их поселковская девчонка так бы отшила!

И увиделось Катино лицо в окне, и то, как махнула она рукой на прощанье. Вспомнилось, как он Катю на велосипеде катал. Приехал тогда на стадион, где по вечерам вся поселковская ребятня собиралась. Затеяли было игру какую-то, да Катя нарушила:

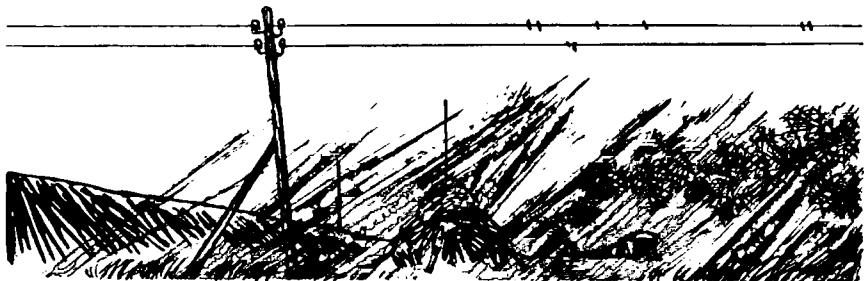
— Я сперва прокатиться хочу! Лень, можно?

— Мне жалко, что ли? Сама ведь через пять шагов грохнешься.

— А ты помоги! Ты подержи, пока я сяду, и толкни!

— Держу, держу...

Катя руками за середину руля ухватилась, ступила левой ногой на опущенную педаль, а правую неловко перенесла спереди через раму. Во время этой процедуры велосипед ходил ходуном, как норовистый конь. Потом Ленька провел его немного, и когда Катя неуверенно нажала на педали, отпустил.



Переднее колесо «Прогресса» выписало три зигзага, раздался звон, и Катя лягушкой распласталась на земле.

— Что, попало? — подбежал Ленька и помог ей подняться.— Разбилась?

— Не! Я с Воронка еще не так шлепалась!

— Давай лучше я тебя на раме прокачу.

— Давай.

Катя снова ухватилась за середину руля, села на раму.

— Только ноги не поджимай, а то цепью заденет,— предупредил Ленька и сел в седло.

Ехал он осторожно, машину не гнал: во-первых, сумрачно, не всякую выбоину заметишь, во-вторых и в главных,— на раме сидела Катя, он почти обнимал ее руками, и потому никуда не хотелось спешить, крутил бы и крутил педали хоть пятнадцать, хоть двадцать километров. По большой дороге, мимо своего и Катиного дома Ленька выехал за поселок, к лесу.

— Далеко ли собрался? — насмешливо спросила вдруг Катя.

— Куда прикажешь! — отшутился Ленька.— А я — хоть на Северный полюс!

— Поворачивай, девчонки ждут.

— Подождут. Ты чего такая?

— Какая?

— Не в себе вроде. Сердитая...

— А я всегда такая. Не замечал? Говорят тебе, поворачивай! Ну?! И упрямый же ты, как ишак!

— Я не упрямый, я — упорный! — засмеялся Ленька и быстрее заработал педалями. Замелькали сосны, в лица ударили смолистый ветер. Катя вцепилась в руль так, что побелели пальцы, прижалась к Леньке спиной.

— Сумасшедший! Разобъемся!

— Со мной не разобъемся, не бойся.

— Кто знает... Ну хватит, разворачивайся. Смотри, спрыгну!

Когда Катя говорила таким тоном, спорить не стоило. Запросто возьмет и спрыгнет. Хорошо, если только коленки обдерет, а если головой об сосну? Ленька резко затормозил,

остановился. Катя, отстранив его руку, легко соскочила с рамы, не оглядываясь, быстро пошла к поселку. Ленька догнал ее, стоя на одной педали.

— Кать, ну чего ты, вправду? — спросил он упавшим голосом.— Чего я тебе плохого сделал?

— Чего, чего... — передразнила его Катя дрожащим от слез голосом.— И так вон Лелька болтает, что мы с тобой, как жених с невестой...

Ленька густо покраснел, в замешательстве дернулся никелированный листик звонка. Мелодичный звон еще больше рассердил Катю.

— Конечно, тебе смешно! — повернулась она к нему, сверкая глазами.— А мне папка вчера пригрозил: если, говорит, до полуночи будешь шляться... А ты сейчас специально мимо наших окон проехал! Мало тебе сплетен, да?

Ленька тоже вдруг разозлился.

— «Папка, папка»! Скоро, может, насовсем разъедемся, а ты — «папка»! Я к тебе по-хорошему, а ты...

Надувшись, он молча шел рядом, одной рукой толкая велосипед. И вдруг — о чудо! — Катина рука коснулась его запястья.

— Ты не сердись, ладно? — мягко сказала Катя.— Я ведь тоже по-хорошему. Я тебе из Вологды обязательно напишу, хочешь?

— И я! Да я хоть каждый день тебе писать буду!

Вот какая она, его Катя! Гордая. А эта... Тыфу!

— Проветримся? — предложил ребятам Ленька, которому надоело отводить глаза от попутчиков.

Земляки охотно поднялись.

— А струсишь субчик-то! — захохотал Трубкин в тамбуре.

— Ты тоже заметил? — обрадовался Ленька.— Вот так с ними и надо! Нечего поддаваться всякому...

— Верно! — пробасил Толик.— В чужое место едем, друг дружку в обиду давать нельзя. Дружнее надо держаться.

— Чтобы один за всех и все за одного, добро?

— Добро!

Веселее на душе стало.

Когда в купе вернулись, попутчики у окна уже в обнимку сидели, и котласский колено девушке гладил. Увидев ребят, засуетился:

— Пора и нам прогуляться, Эльвира! Скажите — занято! — кинул ребятам.

— За нами не пропадет! — загадочно ответил ему Трубкин, доставая из котомки деревенские подорожники.

Постепенно стемнело. Тусклые лампочки под потолком загорелись, в сон клонить стало. Забросил Ленька свой чемоданчик на свободную третью полку, напротив той, где Трубкин устроился, сам на вторую полку влез, пониже, пиджачишко

под голову сунул, улегся. Не спалось долго, оттого что вагон тряслось и дергало, а держаться не за что, не ровен час, загремишь на пол. Он слышал, как вернулись попутчики, как шептались и хихикали внизу, потом сон все-таки навалился, сморил.

Утром Ленька пробудился от непонятного щекотания. Муха, что ли, в вагон залетела: то на лоб сядет, то на ухо. Гонял-гонял ее вялой со сна рукой, пока в нос не залезла, тогда чихнул и проснулся окончательно. На верхней полке давился смехом Трубкин, и Ленька догадался, в чем дело, притворился, что спит. Колька свесил голову с полки, протянул руку с бумажкой и только хотел провести по Ленькиным губам, как угодил в капкан.

— Ой, тише! Свалюсь! Не тяни! — завопил во все горло.

Внизу зашевелились. Толик Углецов на соседней полке всхрапнул и засопел еще прилежнее.

— Не ори, всех разбудишь! — шикнул Ленька. Перевернулся на живот, выглянул в окно. Что-то изменилось в природе. Броде бы так же, как и вчера, тянулись нескончаемой чередой деревья, зеленела трава, кое-где выкошенная, но гуще стали островки рослого кипрея с розовым пламенем цветов, завидневшиеся на горизонте увалы, покрытые лесом. Не горы пока, возвышенности, но и таких не встречалось близ поселка. Прогрел мост под колесами, река оказалась быстрой, бурливой, а дальний крутой берег, как мел, белым. Далеко забрались от дома, что ни скажи!

Ленька тихонько слез с полки, сходил в туалет, умылся и от нечего делать позвал Трубкина:

— Айда на воздух!

Прихватили кулек с оладьями, открыли в тамбуре наружную дверь и уселись на деревянной подножке. Ветер тугим полотнищем ударил в лицо, трава стелилась плотным зеленым половиком, а солнце то пряталось за пухлые облака, то снова слепило глаза. Ехать бы и ехать вот так, на подножке, на самый край света, закусывая время от времени не успевшими зачерстветь олашками!

— Ну-ка марш в вагон! Ишь, расселись, нашли место! Под колеса свалитесь, а мне отвечай! Паршивцы сопливые! — заругалась проводница.

— Мы держимся, тetenька! — попробовал отстоять место на подножке Трубкин.

— Коза тебе тetenька! Слазь, кому говорю!

Пришло забираться в вагон. Толик все еще спал, уткнув лицо в котомку, зато попутчик собрался сходить и подшучивал над Эльвиroy, над ее заплаканными глазами:

— Не тужи, не плачь, голубка! Я вернусь, как прошлогодний снег!

За окном мелькнули дома, замотало вагон на стрелках, и парень повернулся к Трубкину:

— Что, деревня, проводи до вокзала! Дрейфишь? У-у, падла, глаза выколю! — и он двумя растопыренными пальцами прицелился в лицо Кольке.

Не долго думая, Ленька ударил ребром ладони по вытянутой руке. Парень вскочил, но тут сел на своей полке Толик, готовый прыгнуть на обидчика сверху.

— Фраеры, мать вашу... — сплюнул парень. — Канай с дороги, в Ухте встретимся!

Нырнул в проход, только его и видели.

День прошел скучно. На Эльвиру ребята поглядывали презрительно, и она, вздыхая, перебралась в другое купе. Пробовали читать «Конституцию СССР», открывали учебник русского языка и задачник — нет, не лезла в голову наука. Долго глядели в окно, молчали. Достав чемоданчик, Ленька раскрыл его, хотел сунуть учебники обратно и остановился: в чемоданчике как будто чего-то не хватало. Он приподнял бельишко и ахнул: не было газетного свертка с деньгами. Перетряхнул тетрадки, майки, носки — денег не оказалось.

— Чего роешься? — спросил Трубкин.

— Денег нет...

— Как нет?

— А так. В газету завернуты были. Триста рублей. И нету...

— У тебя чемодан-то разве не закрыт?

— Не закрыт...

— А ну давай ты проверь! — приказал Трубкин Толику и полез во внутренний карман пиджака. — У меня все целы.

— И у меня, — пересчитывая деньги, сказал Толик.

— Наверно, тот ухорез твой чемодан опростал! — догадался Колька и бросился искать Эльвиру. Скоро он вернулся смущенный.

— Чего?

— А ничего! Сидит да глазенки пучит. Я не я, и мама не моя... Проводнице надо сказать!

— Бесполезно, — пробормотал Ленька. — Ищи теперь, свищи...

Он задумался. Все потеряно молчали.

— Сойду где-нибудь на станции, — выдавил наконец Ленька. — Поезда дождусь, да домой. Зайцем. Чего мне в Ухте без денег делать?

— Такого уговору не было! — возразил Толик. — Вместе едем, вместе и беду расхлебывать. У тебя, Колька, много ли?

— Четыре сотни.

— И у меня триста пятьдесят. Вот и считай. Стипендия на первом курсе — двести восемьдесят пять. Оставляем себе полстипендии, а остальное — Леньке.

— Да что вы, ребята! Не возьму я! Сам проворонил, самому и отвечать!

— Больно тебя и спросим! — раскипятился Трубкин. — Сказано, так и бери. И не фыркай! Интеллигент несчастный!

— Я не фыркаю, а только вам самим надо! — упрямился Ленька.

— А вот как сделаем, — предложил Толик, поразмыслив. — У тебя сколько-нибудь осталось?

— Десятка... — от обиды и огорчения Ленька чуть не всхлипнул.

— Давай сюда.

Он выложил деньги на столик, присоединил к ним Ленькину десятку и подвинул пачку Трубкину. Тот все понял, бросил свои деньги сверху, отпихнул назад:

— Казначеем ты будешь. Хранителем казны. А мы у тебя на кино просить станем, верно, Лень?

— А я не дам! — отшатнулся Толик, пряча все деньги в карман пиджака. — Ты учти, я хозяйственный!

— Ладно, ребята! — повеселел и Ленька. — Я в долгу не останусь. Напишу из Ухты матери, пошлет маленько. А потом со стипендии рассчитаюсь.

— Будет тебе не о деле! — отмахнулся Трубкин. — Жалко, рожу ему не намылили, ох жалко! Ведь сразу было видно, что жулик, а вот — не догадались!

...И снова Ленька долго не мог уснуть. Теперь не вагонная тряска мешала, а тревожные мысли да злость на котласского вора. Никогда не любил он драться, разве в крайнем каком-нибудь случае, но сегодня, кажется, избил бы вора до полусмерти. Последнее взять! И у кого — у парнишки!

А может, не догадывался он, что последнее? Может, и у него положение аховое, хуже некуда? Хоть ложись и помирай, ведь и так бывает? Хотя нет, не выставлялся бы тогда ухарем, не прилипал бы к первой юбке. Значит, совести просто нет у человека. А как же так, совсем-то без совести? Ну пусть украдет, обманет, убьет. И раз, и два, и десять. А потом-то как? К старости-то? Или только и вспоминать про кражи, про грабежи да убийства? И ни одного светлого пятнышка, ни одного доброго дела не вспомнить? Зачем такая и жизнь, умереть лучше...

Интересно, поднялась бы у него рука на эти деньги, ежели бы знал, как они достались? Как все лето уламывался Ленька на вагонах? Идешь, бывало, после погрузки вроде как пьяный или контуженный...

Грузить вагоны он стал после одной из домашних ссор. Началось все за ужином, когда Ленька объявил:

— В августе в техникум поступать буду.

Брат Анатолий ложку положил, посмотрел на Леньку озада-

ченно. Заплакал младенец в люльке, жена брата Мария кинулась туда. Мать выпрямилась и насторожилась.

— В какой техникум? — спросил Анатолий.

— В Ухтинский горный.

— А учить кто будет? — заглушая плач ребенка, крикнула Мария. — На нас не рассчитывай, не богачи!

— Я и не рассчитываю! — ощетинился Ленька. — В горный иду! Там стипендия триста рублей.

Анатолий встал из-за стола, вытряхнул из пачки дешевую папиросу.

— С охотой в техникум-то? Али только из-за стипендии?

— С охотой... — потупился Ленька.

— Ты как, мам? — повернулся брат к матери.

— Чего я? — она поднесла передник к глазам. — Вы — грамотные. Как знаете... Худ больно Ленька-то, беда. В чужих людях лишний разок не покормят. А и дома тоже — куда приткнешь после семилетки?

— Ладно! — отрубил брат. — Поезжай. На дорогу денег найду.

— Ты найдешь! — подала голос Мария. — Ты на все найдешь! И на велосипед, и на костюм, и на дорогу братцу! На свою семью только у тебя денег нет! И так в долгах, как в шелках...

— Заткнись! — Анатолий тяжело шагнул к ней. — Не сдохнешь!

Мария заголосила.

— Да пошто он на ваши-то деньги поедет? — всполошилась мать. — Найду я, займу, не надо ему ваших денег!

Ленька боком выскользнул из-за стола, рубанул:

— На дорогу сам заработаю! Не маленький!

Легко сказать: заработка! А как? Закадычный дружок Алик Микиткин посоветовал:

— Пойдем на завод. Тес в вагоны грузить. Я уже пробовал. Работа тяжелая, зато каждый день — двадцать рубликов!

— Да ведь не возьмут... — засомневался Ленька. — Малы, скажут.

— С лапочками возьмут! — заверил Алик. — Людей у них нету, рады-радешеньки.

И вправду все оказалось проще простого. Ленька экзамены сдал, и на другой же день подались они с Аликом к заводской курилке. Там человек десять пацанов да девчонок отираются. Время послевоенное, голодное, копейка в каждой семье на счету. Вывернулся откуда-то Семен Клужин, рожа красная:

— Маловато вас сегодня, — проворчал недовольно и вздохнул. — Ладно, сколько есть. Шуруйте на станцию вагон «двадцаткой» грузить. Там Таська-нормировщица покажет. Ты, Пестряков, дело знаешь, будешь за бригадира. Ясно?

— Понятно! — отозвался Гринька Пестряков, и двинули они на станцию.

«Двадцатка» — тесина толщиной два сантиметра, двадцать миллиметров, стало быть, а длиной метров восемь. Такими тесинами и надо вагон накидать с верхом.

Окружили вагон, а как за него приняться, не знают. Гринька с ходу заважничал, в сторону отступил, покрикивает:

— Эй, Микиткин, тащи башмак из-под колеса!

Самое трудное — вагон с места стронуть. Хоть их и десятеро, да все слабосильные, росли на худых харчах, каждого ветром шатает. Однако приспособились: ломики под колеса, под буксы — раз-два, взяли! Заскрипел, започкивал вагон, тронулся. Теперь знай кати туда, где штабель теса желтеет да Алик с железным «башмаком» на рельсах караулит. Подогнали, налетел вагон на «башмак», плеснул маслом из буксы, заскрежетал, стих.

Гринька приказал двери открыть с торцов вагона: они вовнутрь открывались и к стенкам крепились. При закрытых дверях две тесины впритык в вагоне не умещаются, а так концы высунутся с той и с другой стороны вагона, и складывай тес в два штабеля. Хорошо, если двери нормальные, не заклиниваются, тогда — минутное дело. А однажды такой вагончик подсунули, что чуть не до обеда с проклятущей дверью возились, сам Клушин прибегал, ругался, что за простой вагона платить придется.

Потом Гринька накинет на ближнюю к штабелю стенку железные крючья и велит затаскивать на них концы четырех трапов, по два трапа на бригаду. В бригаде пять человек. Две пары тес по трапам таскают, а один в вагоне стоит, потому что не каждая тесина туда ровно свалится, иную скособочит, так ее тут же поправить следует, концы подправить, а то нормировщица вагона после погрузки не примет. В вагоне стоять — работа полегче, зато и глядеть надо в оба, чтобы сверху по затылку тесиной не схлопотать. Схлопочешь — так и тот свет рядом.

Ленька с Аликом в паре любил грузить. Он хоть маленький, а жилистый, свой конец тесины не волочит, не дергает, бежит вровень по соседнему трапу до самых покатов — это бревна такие, ошкуренные, гладкие, с зарубкой на конце, чтобы на стенку вагона положить. Дотащишь тесину до середины трапа, и можно ее на поката опустить, а потом толкать вверх, пока в вагон не свалится, все-таки полегче, чем на весу, на руках выше головы поднимать.

Первые тесины легко идут, чуть не бегом по трапу носишься, взад-вперед, взад-вперед. А как за полвагона перевалит, каждая тесина вдвое потянет, руки отваливаются. Тогда самое время перекусить. Кто что из дома прихватит, все — в общую кучу. Иной раз молока сам не принесешь — у другого лакнешь,

а то и четвертинка яйца отколется. Редко что Леньке удавалось из дому взять кроме черного хлеба да пары вареных картошин. Да что: у Гриньки Пестрякова и того не бывало, а никто не упрекал, не жадничал, не заносился.

Выдавались, правда, дни, когда вагонов на станции не отцепляли или отдавали под «шестидесятку». На нее Клушин ставить ребятню боялся: не ровен час надорвутся. Грузили «шестидесятку» женщины да подростки постарше, и платили им за вагон по сорок рублей каждому. Обидно, что не брали: пять бы вагонов — вот тебе и деньги на дорогу. А н вместо того посыпали в такие дни возить тес с завода на станцию на машине с прицепом. Работа не тяжелая, зато и не денежная...

А что, брату легко денежки доставались? Он с войны еле приполз, весь израненный, а в две смены колотится, лишь бы из долгов выпутаться. Когда младенец родился, корову пришлось купить, а корова не шуточки — пять тысяч. Анатолию в мастерской всего восемьсот платят — не разгуляешься...

Да что до того котласскому вору! Вот ему бы поглядеть, как мать морщиными руками десять раз пенсию пересчитывает, а дыр в житье столько, что хоть сто раз пересчитывай — не заткнешь! Неужели и тогда взял бы? Нет, проснулись бы остатки совести, не взял бы, пожалуй. Или украл бы все-таки? Так ведь самому тошно станет, руки прожгут эти триста рублей, волком взвоешь! Нет, не понять, видно, Леньке таких людей, как котласский парень...

2

В Ухту прибыли раньше, чем загадывали. Сварливая проводница, которую Трубкин расстроил рассказом о Ленькином несчастье, заглянула в купе около обеда.

— Собирайтесь, мальчики с пальчики! Ухта!

— Что больно скоро?

— А поехали, я и в Воркуту увезу. Там тоже техникум есть.

На вокзале растерянно озирались, пока какая-то тетка не показала:

— Вон автобус людей в город возит.

Сели в автобус, маленький, с высунутым вперед, как у легковушки, радиатором, попросили усатого шофера притормозить у техникума.

— У меня остановка рядом,— ответил шофер.

На остановке Ленька, гремя чемоданчиком, спрыгнул первым. Где же техникум? Кругом дома небольшие, хоть и каменные. Догадались: неподалеку гомонила ребятня их возраста. У дверей дорогу землякам преградил щустрый белобрысый паренек.

— Тоже поступать?

— Тоже!

— Отличники, что ли?
— Не отличники. А что?

— А то! — неизвестно чему обрадовался белобрысый.—
А то, что конкурс знаешь какой? Шесть человек на место!
Будто ледяной водой окатил. Вот тебе и «шутя поступим»!
Вот тебе и «дальний север, куда никто не едет»!

Заметив их вытянутые лица, парнишка удовлетворенно
махнул рукой:

— Чего там! Валяйте устраивайтесь. На втором этаже
регистрируют.

Внутри здания тоже толпились поступающие, особенно око-
ло досок с расписанием экзаменов, консультаций, со списками
групп. По широкой каменной лестнице поднялись на второй
этаж в канцелярию, показали вызовы на экзамены. Их за-
регистрировали, направили в общежитие.

— Здесь недалеко,— сказала румяная девушка, вручая на-
правления.— По улице прямо, потом через ручей. Любой
покажет.

Прежде чем уходить, разыскали себя в списках. Ленька
с Трубкиным попали в одну группу, Толик — в соседнюю,
но первый экзамен — математику письменно — сдавали в один
день, второго августа.

— Эх, про конкурс-то не спросили! — досадливо хлопнул
себя по лбу Ленька.

— Держи, я счас! — Трубкин сунул Толику котомку, скрыл-
ся в канцелярии. Вышел хмурый.

— Не соврал. На электромеханическое — пять человек, на
эксплуатацию — три, на разведку — шесть...

— Вот не было печали, так черти накачали! — пригорю-
nilся Толик.

— Будет вам! Утро вечера мудренее.— Ленька решительно
шагнул к двери.

На мостице через ручей долго дивились: кто-то привязал
на веревочку соленую треску, и она, как живая, полоскалась,
переваливаясь с боку на бок в быстрой струе.

Толстая дежурная отвела им комнату в общежитии и сказа-
ла, что постельных принадлежностей сегодня не выдадут,
командантша домой укатила.

— Одну-то ночь и на сетках переспите, — ободрила
толстуха.

Кровати черно лоснились кольчатыми сетками, и Ленька
не огорчился: в шалаше да у костра не мягче спали. Тут
хоть комаров нету. Кроме пяти незастланных кроватей торчали
в комнате стол и три стула. Колька с размаху кинулся на сетку,
она подбросила его вверх и закачалась, успокаиваясь.

— Жить можно! — заключил он.— А жрать нечего. Казна-
чей, веди в лавку!

— И верно, не мешало бы...— потер живот Толик.

Ленька промолчал. Ему высовываться нечего, не на свои живет.

В магазине купили соленой трески, хлеба, с тем и вернулись. Об экзаменах не заикались, пока Трубкин не выпалил:

— Вы как знаете, а мне так не поступить. Я и в школе-то одних ворон считал.

— А мы лучше? — ощетинился Ленька. — Не учили, не готовились. Да и когда было — все лето вкалывали, как проклятые. Всего обиднее, ежели на троеки сдашь. До двадцать пятого проживайся, а потом документики сунут: до новых встреч! Мне и сейчас домой ехать не на что, а потом как?

— Ну, домой-то я все одно не поеду, — неожиданно сказал Толик.

— А куда?

— Поищу в Ухте какую-нибудь работешку, пристроюсь.

— Верно, Толюха! — обрадовался Трубкин. — Я с тобой!

— Я тоже от вас не отстану, — подумав, решился Ленька. — Кому я там нужен, в поселке?

— А может, и не сдавать экзамены-то? — озарило Трубкина. — Завтра документики заберем и — тю-тю!

— Документы надо, без них никуда не возьмут, — поддакнул Толик.

— Нет, ребята, — осадил Ленька. — Документы заберем — из общежития попрут. Сперва спрашиваем насчет работы, а коли выгорит, скажем, мол, документы завтра принесем.

— Голова! Тогда на фиг завтрашнюю консультацию, лучше по городу пошлиаемся!

На том и порешили.

С утра постели получили, ключ от комнаты дежурной отдали и махнули на нефтеперегонный завод, что дымил на окраине, за буровыми вышками. На заводе спросили:

— Сколько лет?

Узнав, что по четырнадцать, и разговаривать не стали. На стройке — та же малина. Еще в две-три конторы сунулись — рабочие везде требуются, да годков маловато.

— А знаете что? — сообразил Ленька. — Зайдем в горком комсомола, там помогут!

— Давай... — без особой надежды согласились друзья.

В горкоме их принял веселый компанейский парень, выслушал внимательно.

— А все-таки попытайтесь в техникум-то!

— Какое! — безнадежно махнул рукой Трубкин. — Шесть человек на место! А мы — деревенские...

— Рано руки опустили! — рассердился вдруг парень. — Да вайте так договоримся: сдавайте экзамены, ну а если уж провалитесь, ступайте в ГРК. В геологоразведочную контору. Там кадры позарез нужны, может, и возьмут вас под свою ответственность.

Вывалились в коридор, посовещались.

— Нечего думать! — кипятился Колька.— Вы в геологи хотели? Хотели! Чем четыре года учиться... Сразу предлагаю! Без хлопот, и зубрить не надо! Устраивайся и женись! Шагом марш в ГРК!

— Интересно, что за контора такая,— нерешительно согласился Ленька.

То и дело останавливая прохожих, земляки разыскали наконец дом, в котором размещалась таинственная ГРК. В отделе кадров сидел плотный лысый мужичок с таким колючим взглядом, что ребята невольно сбились в кучу, подались к двери. Пожалуй, без Трубкина и рта бы открыть не посмели. А Кольке нипочем, отбарабанил, как по писаному. Дядька вздохнул:

— Маловаты вы для нашей службы, что верно, то верно. Допустим, приму я, а вы через месяц запишите, обратно запроситесь, к маме. Есть в таком случае смысл мне вас оформлять? Нету никакого резону.

— Не запросимся! — Трубкин для убедительности шмыгнул носом.— Мы ребята деревенские, крепкие...

— И комаров не боитесь? — засмеялся дядька.

— А вы откуда знаете? — выпучил глаза Колька, вспомнив разговор в вагоне.

— Я, брат, все знаю. Значит, таким образом. Тащите свои документики, свидетельства там о рождении, об образовании... Будем брать вас на службу, коли деревенские да крепкие.

Обрадовались — дальше некуда. Как все прёсто, оказывается! Раз — и в дамках! Ай да дядька, ай да кадровик!

— В техникум! — скомандовал Трубкин.— За свидетельствами!

Рванули чуть не бегом, но в канцелярии их поостудили:

— Не имеем права документы вернуть. Сдавайте экзамены. Если по конкурсу не пройдете, двадцать пятого августа все свои бумаги получите.

— Да нам надо! — заспорил Трубкин.

— Раз надо, незачем было сюда посыпать.

— Подождите,— вмешался Ленька.— А если мы экзамен не сдадим? Провалимся если? Тоже до двадцать пятого ждать?

— Если провалитесь, забирайте, держать не будем.

В коридоре у окна постояли, в затылках почесали.

— Эх, елки-моталки! Че думать-то! — сообразил Трубкин.— Завтра экзамен не сдадим — и баста.

— Как так?

— Да так. Чтобы двойку сразу поставили. Хитрое дело, что ли?

— Не хитрое, да...— Толик опять полез пятерней в затылок.

— Надеешься, что по конкурсу пройдешь? А фигу не хочешь?

— Он дело, пожалуй, толкует,— поддержал Трубкина Лень-

ка. — Коли только так документы добыть можно, так и добудем!

— Согласен! — отрубил Толик.— И верно, хлопот меньше.
— То-то же!

Сразу на душе стало, как на ярмарке, и подались они в клуб горняков, что приютился в молодом сосновом парке, и купили билеты в кино. Картина попалась так себе, хоть и новая: «Антон Иванович сердится». Дочка у этого Антона Ивановича выпендривается, в оперетту ей захотелось, а он сам-то больше на серьезную музыку нажимал, и вокруг этого все вертелось. Ерунда в общем. Не сравнишь с «Александром Невским», которого они с Аликом в поселке смотрели. Леньку тогда на день с сенокоса отпустили за хлебом, он и соблазнил Алика Микиткина в клуб идти.

Клуб у них дома, само собой, не то что дворец горняков. Помещался он в длинном штукатуренном бараке. Раньше в нем приезжие жили, а теперь они в свои дома перебрались, вот барак под клуб и определили.

Люди в поселок разные наезжали. С Украины многие еще передвойной обжились, хозяйство свое завели, огороды большие, коров. Зато семьи с Поволжья долго в бараках ютились, многие обратно уехали после войны, а которые остались — тоже обстроились. В Ленькином классе и те и другие учились: ребята как ребята. Сашка Оскамитный всю зиму бегал к Леньке задачки решать, и сидели они за одной партой.

Билеты киномеханик Степа Зыков продавал прямо у входа в барак, за самодельным столиком. Купили, а заходить не спешили, высматривали, не покажутся ли свои. Ленька все Катю поджидал. Не пришла тогда Катя. А он все стоял, все ждал, пока Алик за рукав не потащил.

Не первый раз «Александра Невского» смотрели, может, четвертый или пятый, да разве такая картина надоест! Лихо рубились русские воины, лихо топили закованных в железо псов-рыцарей подо льдом Чудского озера. И какие все они гордые, смелые, хоть князя возьми, хоть Ваську Буслаева.

— Такой народ не победишь, черта с два! — махал руками Ленька, возвращаясь из клуба.— Ведь кто только на Россию не нападал! И псы-рыцари, и татары, и французы, и турки, и Гитлер. Всех расколошматили, а сами после каждой войны только сильнее и сильнее делаемся!

— А все-таки сейчас таких людей нету, как Васька Буслаев,— возразил Алик.

— Сказанул — нету! Александр Матросов — раз! Панфиловцы — два! Молодогвардейцы — три! Мало?

— Все равно они не такие! — упорствовал Алик.— Васька — богатырь. А эти — небольшие, обыкновенные, хоть и герои.

— Так теперь и оружие другое. Теперь оглоблей-то много не навоюешь.

— Оно конечно... Ты уезжать будешь, так скажись,— переменил разговор Алик.— Я провожу. Хорошо тебе, на волю хоть вырвешься. А мне еще год в школе трубить. Черт, жрать как хочется!

— Сейчас ничем не разживешься. Осенью — вот это да! Картошки бы нарыли, да на Кубину, да костерчик, да яzenочка свеженьского из воды...

— М-м-м... И так слюнки текут! А может, махнем с удочками?

— Поздно,— сокрушенno сказал Ленька.— Завтра чуть свет на сенокос топать...

По правде сказать, и редко выпадало в поселке, когда сытыми-то бывали. Зато сейчас после кино все трое подались не куда-нибудь — в ресторан. Пустили их туда почему-то беспрепятственно. Принесли будущим геологам суп да мудреное блюдо под названием «антрекот». И сидели они довольные, поглядывали на народ гордо.

...Легко ли экзамен провалить? Любой скажет: ничего проще нет. А на душе у Леньки муторно, будто задумал он нехорошее, ну вроде как побить или обмануть кого. Тихо в аудитории. На доске четко мелом написана задача и примеры. Прочитал задачу — сердце сжалось, самая ненавистная — про резервуар. Из одной трубы наливается резервуар нефтью, через другую трубу нефть выливается, а через полчаса после начала наполнения открывается еще одна отливающая труба. Через сколько времени заполнится резервуар, если его объем... и так далее. Понял Ленька, что если бы даже очень сильно захотел, не осилил бы такую головоломку. И странное дело: полегчало. Теперь вроде бы и не обман получался, раз все равно не решить. Зато белобрысый мальчишка, что встречал их у входа в техникум и сегодня устроился справа от Леньки, прошептал, возбужденно блестя глазами:

— Вчера на консультации точно такую разбирали! Тютелька в тютельку!

Обидно стало Леньке за собственную глупость: надо же, на консультацию поленились сходить. Кто знает, а вдруг бы и поступили? Переписал задачу на листок со штампом, поставил ниже «Первое действие» и покосился влево, на Трубкина. А с того как с гуся вода: спускает на переписанную в листок задачу жирные кляксы...

— Сдаем! — толкнул Леньку в бок.

— Погоди! Надо хоть для приличия порешать!

— Была нужда голову ломать! Не казенная. Я тебя в коридоре подожду.

Встал Колька и понес листок с кляксами преподавателю. Тот плечами пожал, ничего не сказал, мол, мое дело сторона.

Ленька минут пять почеркал бумагу, уравнение переписал. Уравнение-то, пожалуй, решил бы, да что! Снявши голову, по волосам не плачут. Свернул свой листок и тоже на стол преподавателю положил. Ребята его завистливыми взглядами проводили, думают, наверно, что он задачки как орешки щелкает. А Леньке такие задачки — одно наказание. Ведь точно такая же была на дом задана в тот злополучный день, когда с племянником пришлось воевать. Он тогда после школы прошлялся порядочно, мать все глаза проглядела, ожидаючи. Ей тоже не сладко: из-за внука пришлось устраиваться ночным сторожем на сенопункт. Ночь государственное сено караулит, а и днем с таким чадом не соснешь.

Увидев Леньку, мать сунула младенца в люльку, подвешенную на четырех пружинах к потолку. Племянник тотчас взвыл благим матом.

— Что б тебя разорвало! Ленька, доставай сам суп из печи. Ешь да бери Кольку, а я картошку стану перебирать. Люди огороды копают, а у нас все не у шубы рукав.

— Да! — попытался увильтнуть Ленька. — Уроков вон сколько! Экзамены на носу, а тут...

— Колька уснет, так решишь свои уроки! Побайкой его маленько, вишь, глаза-то уж закрываются. Кш-ш, кш-ш, кш-ш...

— Не буду водиться!

— Ох, Ленька, долго тебе еще до ума!

Делать нечего. Ленька мигом съел суп, достал из сумки «Великого Моурави» и сменил мать у зыбки. Только хлопнула дверь, как он вытащил из угла веревку с петлей. Привяжешь веревку к кольцу зыбки, ногу в петлю проденешь и качай, лежа на кровати. Укачаешь — сам себе хозяин: хоть спи, хоть читай.

Колька орал и орал — такой невезучий выдался день. Утихомиривать надо. Первое средство — соска с молоком. Не ест — значит, сыт и блажит попусту. Тогда сунь ему в беззубый ротик пустышку. Но ежели и пустышку выплевывает — дело швах. Стало быть, одно из двух: либо он мокрый лежит, либо болит у него где-то. А где — догадайся сам, не скажет. Может, просто нервы не в порядке.

Ленька отшвырнул книгу и предложил Кольке пустышку. Тот завыл громче. Пеленки были сухие, и Колька погладил младенцу животик. Болело, видно, что-то другое.

— Ну чего вонишь? Чего? Не стыдно, большой такой? — попробовал он урезонить двухмесячного хулигана. Но совести у племянника пока не было.

Он взял ревуна на руки и зашагал по избе, покачивая его на руках. Плач продолжался. Снова уложив племянника, он в отчаянии стал раскачивать зыбку чуть ли не от пола до потолка, на всю растяжку пружины. Колька умолк, испуганный, но только на секунду, а потом зашелся в плаче

до синевы. Тогда Ленька наклонился над ним, состроил несколько смешных гримас и неожиданно для себя по-волчьи щелкнул зубами. Чадо тут же притихло, вытаращив на дядю бледноголубые глазенки, улыбнулось и пустило пузырь изо рта. Пришлось щелкать зубами. Эта забава скоро прискучила мучителю: закатив глаза, он вновь залился истощенным воем.

— А-а-а, а-а-а, а-а-а! Баю, баюшки, баю, не ложися на краю... — по-старушечьи запел Ленька, у которого тоже навернулись на глаза слезы.

— Пропади ты пропадом! — ругнулся он и сменил репертуар: — Расцветали яблони и груши! Поплыли туманы над рекой!

И — о чудо! — племянник стих. Он прислушивался теперь не к своему, а к Ленькиному реву. Воодушевленный Ленька спел «Летят перелетные птицы», «Хороша страна Болгария», «Дрались по-геройски, по-русски», после чего Колька заснул первобытным сном. На «Великого Моурави» времени не осталось. Ленька раскрыл сумку и швырнул на стол учебники. Литературу, историю и географию он сразу отложил в сторону — хватит на них и перемены. Математика — дело другое. Прямо гиблое дело. С пятого класса он до одури бьется над задачами. Помочь некому: брат давно все перезабыл, а мать и читать не умеет, отцовы книжки в войну исклеила вместо обоеv, так что и сейчас на стенах целая библиотека, от Шекспира до Некрасова. Из книг, что отец собирал, на чердаке в лубяном пестере штук десять всего валяется, да и те без начала, без конца, одна «Геология» чудом уцелела. Мария в математике смыслит, бухгалтером работает, помогла бы, да просить язык не повернется...

Ленька раскрыл задачник. И попалась она, ненавистная задачка о бассейне, в который через одну трубу сколько-то там вливается, а через две другие выливается. К чему тогда и бассейн наливать, если из него все выливается, только воду переводить. Заткнули бы отливающие трубы, и дело с концом. Он невидяще уставился в потолок, потом в обклеенную книгами стену, уперся взглядом в распластанного на кровати «Великого Моурави». «Убрать, что ли...» И — замелькала страница за страницей, потекло время, как вода из трубы. Хныкнул племянник, попробовал голос спросонья и залился! Прощай, задача!

А сегодня взяла да отомстила задачка-то...

Скоро и Толик в коридоре объявился.

— Решил? — спросил Трубкин подозрительно.

— Мне такую контрольную за трое суток не осилить, — мрачно пощупил Углецов.

— Не тужите! Пока они тут штаны протирают, мы всю геологию руками пощупаем.

— Неловко все-таки,— поежился Ленька.— Сборов-то было! Дома всех обнадежили...

— Пошлешь письмо, что в контору взяли, небось обращаются!

День солнечный выдался, жаркий. На реку потянуло. Долго ребята по берегу шли, городок позади остался, а берег все высился, высился и перерос в настоящую гору.

— Полезем наверх?

— Давай!

Карабкались-карабкались по сыпучему песку, выбрались-таки на вершину иахнули. Пока хватал глаз, громоздились за рекой Ухтой заросшие лесом, синие от дымки увалы. Безлюдье и глушь кругом, только тоненькими палочками торчали кой-где невысокие вышки буровых скважин. Терпеливо качались на вышках балансиры насосов, похожие на колодезные журавли, высасывали из земли и гнали по трубам маслянистую пахучую нефть. Так вот какая она, нефтяная страна! Широка, привольна, большой ждет силы от человека, которому тут жить поглянулось.

На другой день за документами отправились, да не тут-то было: пока обходной листочек не заполнишь, не отдадут. А обходной заполнять — из общежития выметаться надо со всеми своими котомками да чемоданами. Трубки опять ребят выручил, договорился с дежурной, что еще одну ночь переносят. Теперь бумаги в канцелярии выдали: не больно-то нужны техникуму такие гаврики, у которых две двойки да одна единица, пять баллов на троих. Единицу Кольке за кляксы влепили.

Заодно Ленька коллекцию свою в геологический кабинет отнес. Перед тем как идти, долго перебирал камни, вспоминал...

...Вспомнилось, как привел он в землянку Катю.

— Заходи! — пригласил он тогда ее и строго предупредил: — Только знай: проболтаешься...

— Ладно тебе! — нетерпеливо махнула она рукой,— тоже мне невидаль — яма на берегу!

— Кому яма, а кому...

В стене землянки, словно закрытое ставнем окно, темнел обрезок старой фанеры. Ленька осторожно вынул его, открылась ниша, где хранился ящик без крышки. Выдвинул ящик, с усилием опустил его перед скамейкой.

— Камни... — разочарованно протянула Катя и покосилась на выход. Небо из землянки выглядело ослепительно голубым, стально сверкал под солнцем ручей. В тесном, пахнущем сыростью тайнике, с потолка которого то и дело сваливались катышки земли, показалось неуютно, мрачно.

— Камни... — передразнил ее Ленька.— А ты знаешь, какие камни? Гляди!

Он достал из ящика несколько продолговатых цилиндриков.

Каждый из них напоминал столбик серых таблеток, слипшихся между собой.

— Что это такое, знаешь?

— Камень такой...

— Сама ты камень! Это — стебель растения. Ему миллион лет, а может, и побольше.

— Ври давай!

— Точно! Я в учебнике по геологии прочитал. Вот раковина окаменевшая. Вот чертов палец. Ведь здесь, где мы сидим, море когда-то было, представляешь? Ходим по дну бывшего моря и ничего о нем не знаем.

Ленька протянул Кате блестящий белый камушек с острыми рваными краями.

— Подумаешь! Обыкновенный кварц. Его на берегу — хоть вагонами вози.

— Обыкновенный, да? Обыкновенный? Эх ты! А ну давай на солнце!

Катя с облегчением выбралась из землянки.

— Сказанула — обыкновенный! — кипятился Ленька.— Я и сам знаю, что кварц! Ты посмотри!

Он повернулся осколок блестящего камня, и Катя заметила в одной из граней светлую капельку, твердую, но прозрачную, как вода в ручье. Солнечный луч упал на нее, и капелька вспыхнула радужным светом.

— Что это? — шепотом спросила Катя.

— Алмаз! — гордо произнес Ленька.— В ручье отыскал. Я его сохраню, а когда научусь камни обрабатывать, вырежу и отшлифую. Осторожно надо, а то расколется. Алмаз ведь хрупкий очень, хоть и тверже стали.,

— Так уж и алмаз! — все еще недоверчиво, но уже с интересом протянула Катя.— Значит, ты и пропадаешь все дни на ручье? Камни ищешь?

— Конечно! Интереснее всякой рыбалки!

— Понимаю... Ладно, давай посмотрим твою коллекцию.

Они снова забрались в землянку, уселись на лавке перед ящиком с минералами.

— Вот интересный,— достал Ленька увесистый ржавый голыш величиной с кулак. — Скорее всего, руда железная, видишь: тяжелый и рыжий. А здесь — полевой шпат, слоистый. Рисунок на нем — будто волны морские. Отслоишь пластинку — там другой рисунок...

Катя безучастно молчала, и Ленька упавшим голосом добавил:

— Может, и не другой, может, такой же...

И вдруг торопливо заговорил, взяв в руку обломок кварца:

— Я этот алмаз для тебя вырежу. А может, и другой отыщу, и опять вырежу. Пусть будут у тебя алмазные сережки!

— Спасибо... — Катя слегка прижалась к нему плечом. Ленька оторопел сперва, а потом вскочил, задев головой свод землянки, отчего добрая пригоршня земли свалилась прямо в ящик с камнями.

Сейчас он улыбнулся, вспомнив об этом, потом вздохнул и встряхнул тяжелый мешочек с камнями. По правде сказать, он и сам не был уверен, что отыскал алмаз, потому что знал: алмазы водятся не в кварце, а в кимберлитовых трубках. Но проверить все-таки надо, потому и собрался он в минералогический кабинет. Вернулся в общежитие расстроенный, молчаливый.

Ребята еле дождались его и в полном боевом, со свидетельствами, двинули в ГРК. У входа в контору чернявый насупленный парень спросил лениво:

— Чего отираетесь?

— Мы на работу.

— Ха, «на работу»... — протянул он презрительно. — А знаете, как ГРК расшифровать?

— Не...

— То-то и оно. Горе рабочему классу, — вот как здешнее заведение зовут. Усекли, работнички?

Ребята помялись в недоумении, потом проскочили в дверь к лысому кадровику. Тот сразу узнал, заулыбался:

— А я решил, что передумали. Нет и нет. Принесли документы?

— Принесли.

— Давайте. Так... Углецов. Кто Углецов?

— Я, — поднялся со стула Толик.

— Пятнадцать скоро Углецову. Это хорошо. Берем Углевца на буровую учеником.

— Мне бы в геологи... — заикнулся Толик.

Мужчина посмотрел на него и вдруг захохотал мощно, басисто:

— Сразу да и в геологи! Во дает! Может, тебя начальником партии назначить? А? Потянем?

Толик потупился, а кадровик продолжал, утирая глаза:

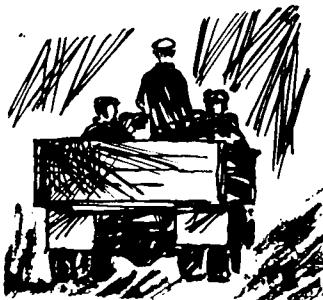
— Буровые у нас не эксплуатационные, разведочные. Размещены по тайге. Жизнь тяжелая, работа — не легче. Так какое будет твое решение, Углецов?

— А мы? — вмешался Колька.

— Дойдет очередь! — осадил кадровик.

— Мы-то хотели... вместе что-бы... — выдавил Толик.

— Так, братцы, не пойдет. Здесь про «мы хотели» забудьте. Здесь — как я хочу, а точнее — как надо.



Нет у нас такой возможности — трех учеников на одну буровую посадить. Крути не крути, а придется вам разъезжаться. Значит, вот тебе, Углецов, записка. Найдешь этого человека, он тебе обмундирование выдаст, прочее и скажет, когда и на чем ехать. Все с тобой. Медведев!

— Я Медведев,— отозвался Ленька.

— Ты Медведев... Щупленький ты что-то, Медведев, не оправдываешь фамилию. Погляди на себя — кожа да кости, а еще Медведев. И годочек тебе... только-только четырнадцать стукнуло. Ехал бы ты, Медведев, домой, а?

— Нельзя мне домой! — испугался Ленька.

— Видишь, тебе нельзя, а куда я тебя пристрою? На буровой работенка не по тебе, не сдюжишь. К топографам разве?

Кадровик снял трубку, позвонил:

— Иван Иванович, ты когда в поле? Скоро? Ученика возьмешь? Образование? Семилетнее образование. Бери, бери, пригодится. Кадру вырастишь, помощника. Парень молодой, смышленый. Что? Нет, не воевал. Договорились? Ну и добро, пришло его к тебе.

— Будешь, Медведев, в топографическом отряде учеником. Ивлев Иван Иванович тебе все растолкует, он здесь, в двадцать пятой комнате. Так, а Трубкин? Ты, стало быть, деревенский да крепкий?

Колька кивнул.

— Тебя на другую буровую. Иди вместе с Углецовым оформляйся, бери направление. Ну все, хлопцы! Главное — не пищать. Приглядывайтесь, учитесь. А техникум не уйдет. Только уговор: без жалоб. На свой страх и риск беру несовершеннолетних, узнают — не сносить мне головы!

Вышли от кадровика ошарашенные. Все планы рушились. Охота ли расставаться? В одиночку новую жизнь начинать?

3

Иван Иванович Ивлев — ни дать ни взять — колхозный бригадир с виду. Невысокий, круглолицый, улыбчивый, весь какой-то нескладный да простецкий. Одет не по сезону — к легкой рубашке с закатанными рукавами не больно-то подходили резиновые литые бродни, в которых он косолапил по кабинетику и вовсю улыбался, видно, рассказывал веселое что-то очкастому начальнику и кудрявой девице, что сидели здесь за столами. Улыбка у Ивана Ивановича моментально пропала, едва взял протянутую Ленькой бумажку. Он даже отступил на шаг и смешно встопорщил выгоревшие брови, глядя на Леньку, как на гремучую змею.

— Ты что... ты — ученик? Ты? — еле выговорил он.— Ну, Григорьевич, ну удружила, прохиндей! Я ему счас! Копыта откинет, верь слову!

Вылетел из кабинетика Ивлев, ветер от захлопнутой двери бумаги на столе взъерошил. Ленька стоял ни жив ни мертв.

— Да ты присядь, мальчик! — сказала кудрявая девица.— Ты не волнуйся, Иван Иваныч добрый. Пошумит-пошумит и стихнет! — она кокетливо хихикнула.

Ленька присел на краешек стула у двери. Ждал долго. Наконец дверь рывком распахнулась, Иван Иванович, красный, будто после бани, скомандовал:

— Ленька, за мной!

Едва порог перешагнул, как Ивлев взял его широкой крепкой ладонью за плечо, сдавил слегка и повел по коридору, приговаривая на ходу:

— Я — начальник топографического отряда. Карты мы делаем. Сперва съемку местности, потом — карты. Ну да с этим успеется, верь слову. Теперь так. Я — начальник, ты — мой ученик, уяснил? Без моего разрешения шагу не ступать, слушаться, как отца родного. Так? Так. Что у тебя с собой? Ничего. Денег тоже нет? Понятно, что нет. Как смыслишь, спецуху на тебя подберем? Вот и я думаю — вряд ли. Но попробуем, верь слову. Вот не было печали! Одно слово, детский сад, верно? А как же!

Странная манера говорить была у Ивана Ивановича. Справшивал он вроде бы всерьез, но не успевал Ленька и рта открыть, как Иван Иванович сам же отвечал на свой вопрос, и что удивительно, отвечал именно то, что хотел сказать Ленька.

— Сейчас сюда заглянем. Накладные выпишем на спецуху, на сапоги. Из вещей у тебя что? Чемодан. Не пойдет чемодан, надо рюкзак. Есть у меня старый, возьмешь. И не спорь. Мал еще! — хотя Ленька и не думал спорить.

Взяли накладные на спецовку. Иван Иванович потащил Леньку в бухгалтерию и потребовал немедленно выписать «моему ученику» аванс. Двести рублей. Обалдевший Ленька только ходил следом за Ивлевым и расписывался в разных бумагах. Сунув деньги в карман пиджака, он вприпрыжку побежал за начальником на склад. Там Иван Иванович кинул накладные кладовщику, зашумел:

— Ты мне баражло ношеное не подсовывай! Ты мне спецуху подай самого маленьского размера. Новую!

Перебрали штук пять брезентовых курток: все велики, рукава болтались до колен. Иван Иванович ожесточенно перекидывал пачки новеньких спецовок, пока кладовщик не взмолился:

— Товарищ Ивлев! Ты такого мне наворотишь, неделю не разобраться! Честью тебе говорю: нету меньше сорок восьмого размера! Вот первый рост, а меньше — убей, ничего нету!

Ленька прикинул еще одну куртку, в которую можно было завернуть двух таких, как он.

— Добро! — согласился Иван Иванович.— Рукава подвернешь, ремнем затянем затянемся. Сапоги давай.

Сапог меньше сорокового размера на складе тоже не нашлось.

— Портянок больше намотаешь. Что там еще? Накомарник? Давай сюда накомарник и рукавицы. Все? Все. Забирай, Ленька, свое приданое. Лучше нет, верь слову!

— А куда? — робко спросил Ленька.

— Э-э! Сосунок! — рассвирепел Иван Иванович.— Дай!

Он, мрачно сопя, скатал в один сверток всю амуницию и широко зашагал по зеленой улице к окраине городка. Едва успевая за ним, Ленька то и дело облизывал сухие от жары губы. Остановились около одноэтажного бревенчатого домика, окна которого прикрывали высокие ягодные кусты. Ивлев отворил дверь застекленной веранды, кинул одежду в угол и провел ученика в дом.

— Степановна! — громко сказал с порога.— Ну-ка корми лесовиков! Гляди, какая у меня новая кадра!

— Господи, с ума спятили! — всплеснула руками жена начальника.— Да вы скоро младенцев в тайгу потащите! Тебя как звать-то?

— Ленькой его зовут! Хорошее имя, да дураку досталось, верь слову! Ну ладно, не из города приехал. Бывал в лесу-то?

— Я и вырос в лесу,— осмелел Ленька.

— Вот видишь, а ты говоришь! Нашенский мужик? Нашенский!

За обедом Иван Иванович наставлял:

— В поле мы на сколько уходим? Дней на двадцать, на месяц. В августе маршрут не велик, а и не маленький, так? Средний маршрут. Продукты положено самим покупать. Скажешь, потом все равно в общий котел? Правильно. Закупаем все на нашей базе. Уезжаем отсюда послезавтра с утра. Так что ты со своим чемоданишком пригребайся ко мне когда? Послезавтра пораньше. Да без фокусов! А то, верь слову!..

— Ладно,— согласился Ленька и смущенно добавил: — Спасибо вам!

— Ишь ты, «спасибо»! Другое не запоешь? Погоди, запоешь! Не на прогулку собрался,— ворчал Иван Иванович, стараясь нахмуриться, но заметно было, что досада его проходит.

Ленька попрощался и выбежал на улицу, торопясь повидаться с земляками, пока не укатили на свои буровые. В суматохе совсем забыл сказать начальнику, что ночевать в общежитии техникума разрешено всего одну ночь. Ладно, до второй пока далеко.

Ребята в общежитии не показывались. Ленька бесцельно слонялся из угла в угол, огибая помятые койки: теперь все пять были застелены.

«А утром,— сказала комендантша,— чтоб духом вашим здесь не пахло».

И оттого, что так сказано, неуютно Леньке в пустой комнате, словно вором сюда забрался и вот-вот хозяева явятся. Он весь истомился, дожидалась, а когда, хохоча, влетели Трубкин с Углевовым, сделалось так обидно, будто предали друзья, оставив одного в чужом месте.

— Чему обрадовались? — зло спросил он.

— А наши буровые-то — рядом! Соседние! Завтра на машину и — до свидания! — затараторил Трубкин.— На одной машине с Толькой погазуем! Сперва его высадят на буровой, потом — меня. А ты как? Что за работа?

— А я как мечтал по тайге бродить, так и стану. Отряд у нас такой: каждый месяц дают ему маршрут нехоженый, идите, говорят, поглядите, чего там есть, и на карту все нанесите. Начальник отряда — мировой мужик! Домой пригласил, борщом накормил. Ты, говорит, Ленька, не дрейфь! В лесу вырос, так не пропадешь с нами!

Добился своего: ребята с завистью посмотрели. Отомщенный, улыбнулся, перестал хвастать.

— Аванс тебе выписали?

— А то! Двести рублей!

— И нам тоже.

— Эх, братцы! — потянулся Трубкин,— вот бы вместе-то, а? Тогда бы что, тогда — хоть женись!

— Не так живи, как хочется...

— Ничего! Не горюйте. Век, что ли, в учениках ходить? Дадут разряд, устроимся на одну буровую.

— Можно,— степенно согласился Толик.

— Мне не бывать,— снова загрустил Ленька.— У меня специальность другая...

В тот вечер их никуда не тянуло: до темноты просидели в садике возле общежития, вспоминали дом, школу, родных. Отсюда все виделось иным, лучше, чем на самом деле, и среди веселых рассказов то одного, то другого брала за сердце тревога: что-то будет?

Трубкин вспомнил, как последний раз с раменцами в футбол играли на поселковском стадионе. Стадионом его, конечно, только ребятня звала, по привычке. На самом-то деле — никакой не стадион, просто футбольное поле с воротами без сеток, а по бокам шесть скамеек вкопано, по три с каждой стороны. За воротами справа начинались кусты ольшаника и болото, а за левыми воротами — дорога, и сразу за ней — огород бабки Мэши, которая картошку свою берегла пуще глаза и не раз забирала мяч на полдня, а то и больше, ежели случалось ему залетать на грядки.

Какими только мячами не доводилось играть на этом стадионе! И связанными веревочкой из тряпок. И маленькими

резиновыми, хлесткими — ударишь хорошо — долго не сходит красное пятно с босой ноги. И чью-нибудь драную кепку, случалось, гоняли от ворот до ворот. Потом, когда подросли, раздобыли где-то большой резиновый мяч, почти что с половину футбольного. С заработков на лесозаводе скинулись, волейбольную покрышку купили и к ней две камеры. Надували по очереди. А у раменцев настоящий футбольный был с черными кожаными пластинаами и твердой шнуровкой.

Последняя игра с раменцами и впрямь интересной получилась. Долго обсуждали кандидатуру судьи: ни раменский, ни поселковский для такого дела не годились, обязательно стали бы подсуживать. Уговорили приехавшего на каникулы из Воркуты Серегу Славнова. Главное — часы у него были, без часов — не та игра, весь день гонять можно.

Построились полукругом — команда против команды. Раменцы, пожалуй, посильнее с виду и ростом повыше. Зато техника у них хромала, лутили по мячу не глядя, куда попало, лишь бы от своих ворот подале, бегали кучей. Под ноги им попадаться опасно — враз «подкуют».

Капитаны вперед вышли, друг другу руки пожали — маленький Коля Трубкин длинному Борьке Агееву. Кинули пятак, выиграл Борька Агеев, ему, стало быть, и ворота выбирать. Ворота с утра — не главное, потому что ветра нет и солнце сбоку светит, для всех одинаково. А то, что поселковским начинать первым, — добрый знак, сразу всю игру в свои руки взять можно.

Свистнул Серега в самодельный свисток, разбежались игроки по местам. Трусы у всех разные, кто в майке, кто в рубашке, а кто и вовсе до пояса голый, да это ничего, все друг друга знают, как облупленных, с чужим игроком не спутают. Коля Трубкин тихонько мяч Леньке толкнул и вперед побежал. Ленька на край поля подался, подождал, пока раменцы кучей на него навалятся, и сильно на другой край поля мяч послал. Трубкин подачу взял, перед ним два защитника. Обвел одного, второго, бьет с дальнего расстояния, эх, промазал, выше ворот взял. Обидно, такой момент!

Поперли раменцы кучей, мяч далеко не отпускают, Борька Агеев, как танк, впереди, размахивается, бьет... Ай, молодец вратарь Шурка, змеем бросился в нижний левый угол, перехватил. И выбил далеко, в центр поля, прямо почти на Леньку.

Вперед! На пути защитник, мяч с ноги на ногу — шалишь, брат! Пока развернешься да догонишь, — ворота — вот они! Мечется, прыгает вратарь, один на один вышел Ленька. И вдруг от удара в плечо отлетел метра на три в сторону, упал, землю головой отбил, зашумело в голове. Еле поднялся. Сереге кулаком погрозил, а тот руками разводит: дескать, все по правилам, плечом тебя Борька Агеев толкнул...

Не скажешь, чтобы победа легко досталась, убегались, пока три мяча забили. Третий-то, правда, с одиннадцатиметрового. Защитник раменский мяч рукой из ворот выбил. Серега одиннадцать шагов отсчитал, раменцы не согласились, шаг у него, мол, меньше метра. Стал отмеривать своими ходулями Борька Агеев, да так увлекся, что одиннадцать метров у него аж за линией штрафной площадки оказались. Сошлись на том, что Серега к своим шагам еще два накинет для верности. В общем около дела получилось.

Бить Леньке поручили. Он особо решил не форсить, по «девяткам» не лупить, лишь бы в ворота наверняка попасть — все не так позорно будет, если вратарь возьмет, чем если на три метра выше ворот зафугасишь. Разбежался, ударил в самую середину ворот, а мяч, как всегда, в сторону отклонился и недалеко от правой штанги в ворота влетел. Вполне приличный получился удар...

Сейчас на скамейке у общежития вспоминалось об этой победе и весело и грустно: далеко она отодвинулась в прежнюю бестревожную жизнь.

Тревога не унималась и ночью, в зыбком сне мерещились всякие напасти. А когда, посадив земляков на машину, Ленька помахал им рукой и остался один со своим фанерным чемоданишком, показался он себе таким маленьким и слабым под синим бездонным небом, в безмерной дали от дома, что слезы предательски навернулись на глаза. Быстро смахнув их кулаком, подхватил чемоданчик и зашагал к берегу Ухты. Долго отыскивал укромное местечко, где без помех можно пересидеть длинный и знойный день. Пристроился к теплому валуну, разделся и уставился на быстрые струи реки, по которым масленисто растекались, то свиваясь в кружки, то змеясь и вытягиваясь мыльной пленкой, жирные пятна нефти. Но вряд ли видел он эти пятна. Перед глазами проносился поселок, дом, сутулая фигура матери. В грязной фуфайке шел с работы брат Анатолий, припадал на раненную ногу...

«Письмо надо написать,— сообразил Ленька.— Они ведь там расстраиваются из-за меня».

Он достал чистую тетрадку и карандаш, пристроился поудобнее, положив тетрадку на крышку чемоданчика. Первые слова написались быстро:

«Добрый день или вечер, дорогие мои родные: мама, брат Анатолий, Мария и маленький племянник Колюшка!»

Дальше дело пошло со скрипом. Легко ли писать, что на экзамене провалился, что работать в чужих краях собрался? Долго думал, покусывая карандаш, потом решился: что скрывать!

«С приветом к вам ваш сын и брат Леонид. Во первых строках спешу сообщить, что вышло у меня все не так, как хотелось. Конкурс в техникуме очень большой, и экзамена я

не выдержал. Хотел было домой ехать, да ребята отговорили. На работу в поселке меня по молодости не примут, а вам лишний рот тоже ни к чему...»

Ленька снова остановился. Писать ли, что обокрали в поезде и денег на билет не осталось? Нет, лучше не писать, не доводить мать до слез. Пободрее как-то надо...

«Зато здесь работа нам сразу нашлась, и хорошая. Ребята на буровые вышки устроились, а меня в топографический отряд взяли. Это почти что как геологи, только не руду ищут, а карты составляют. Взяли меня учеником, думаю, ненадолго, а потом буду деньги зарабатывать и вам помогать. Так что не расстраивайтесь там и живите спокойно. Адреса у меня пока нет, в тайгу уходим на месяц. А как появится адрес, сразу сообщу. До свидания. Привет всем знакомым, особенно Алику Микиткину».

Ленька хотел дописать «и Кате Гришуткиной», но спохватился — не подумали бы чего плохого. Лучше ей отдельно написать. Он перевернул две тетрадные страницы и тщательно вывел:

«Здравствуй, Катя!»

В тот же миг крупно и ясно возникло перед внутренним взором Леньки ее лицо, точь-в-точку такое, каким было оно майским днем у расплесканной половодьем Кубины... Где-то теперь Катя? Сдаст ли экзамены в своем ветеринарном или вернулась домой? Скорее всего сдаст, она ведь поумнее обормота Леньки, который за все лето не удосужился учебника в руки взять. Прибудет после экзаменов домой и сразу письмо получит.

«Ты, наверное, в техникум поступила. Мне вот не повезло, провалился. Ничего, техникум никуда не денется, а я пока устроился на работу в ГРК. Это геологоразведочная контора, или, как ее еще здесь зовут, «горе рабочему классу». Взяли меня учеником в топографический отряд, карты делать. Не знаю, справлюсь ли? Завтра прямо в тайгу уходим.

Я тебя часто вспоминаю и всех ребят в поселке, и наши вечера на стадионе. Думаешь ли ты обо мне?

Коллекцию свою я в техникуме оставил. У преподавателя в геологическом кабинете спросил, можно ли выпилить алмаз из кварца. Он посмеялся и сказал, что это не алмаз вовсе, а маленькое вкрапление горного хрусталя, которое в кварце часто встречается. Даже камня этого не взял, хотя остальные, сказал, им пригодятся. Но ты не беспокойся, алмаз для тебя я все равно отыщу. Писать тебе пока буду домой, потому что адреса у меня нет, и в Вологде твоего я тоже не знаю».

Ленька переменил позу, прижался спиной к нагретому солнцем валуну. Раскидала их с Катей судьба по свету, а казалось когда-то, что всю жизнь вместе будут...

Вот ведь сероглазая! Сколько раз побеждала она Леньку,

в общем-то не больно уступчивого. Как первый раз победила, так и пошло, поехало.

Тогда, во втором классе, вскоре после первого снегопада прибрела в школу иссохшая женщина, про таких говорили в поселке: одни глаза. Она держала за руку девочку, с головы до ног замотанную в пуховый платок. Когда платок размотали, выглянуло курносое существо с мышиными хвостиками ко-сичек.

— Познакомьтесь, дети,— сказала сухопарая Марья Петровна.— Наша новая ученица Катя Гришуткина. Попрошу не обижать: Катя приехала из-под Ленинграда, оттуда, где сейчас фашисты. В дороге их эшелон бомбили...

На перемене все окружили Катю.

— А немцев ты видела?

— Нет...

— Вас правда бомбили?

— Правда.

— Страшно?

— Не очень. Мы из вагонов выскочили и побежали за насыпь. Самолеты налетели и воют так противно-противно. Мама нас со Светкой на землю уложила, и все загрохотало кругом. Я хотела голову поднять, посмотреть, что там грохочет, а мама не дает, рукой к земле прижимает. И запах такой нехороший, кислый, говорили — от бомб...

— Вот это да!

В тот же вечер Ленька узнал, где живут Гришуткины. Узнал случайно: лепили в сумерках снежную бабу с Аликом Микиткиным да с Валей Борковым, вдруг, откуда ни возьмись, на тропинке — незнакомая девчонка. Алик навстречу:

— Кто такая? Надо окрестить!

— Как «окрестить»? — опешила она, и Ленька узнал Катю.

— Не знаешь как? В снегу вываливать!

Катя поставила на тропинку пустой бидон и сказала:

— Давайте так сделаем. Я сейчас с кем-нибудь из вас бороться буду. Если моя победа — вы меня к себе играть принимаете, а если не моя, тогда... Тогда ладно, крестите...

Ребята засмеялись.

— Да Ленька тебя одной рукой уложит!

— Это ты Ленька? Давай!

— Вот еще, с девчонкой. Не буду.

— Струсишь, да? Струсишь?

— Ну давай, раз так!

Ленька обхватил руками Катю за талию и обалдел: из-под пухового платка ослепили его громадные серые глаза. Ну прямо обалдел, иначе не скажешь, потому что через секунду уже лежал в снегу на лопатках.

— Случайно, случайно! — завопил он.— Я поскользнулся!

— Давай еще раз! — великолодушно согласилась Катя.

И второй, и третий раз заставила она Леньку давить лопатками снег, потом спросила:

— Мир? — и отряхнула пальто.

— Мир... — угрюмо согласился Ленька.— А ты куда пра-вишься?

— За молоком для Светки.

— А где живешь?

— Вон в том доме, у тети Паши.

— Рядом с нами! — почему-то обрадовался Ленька.— Мы тебя проводим тогда!

— Ага,— спокойно согласилась Катя.

Потом, когда Катин отец вернулся с войны, Гришуткины купили свой дом и поставили его на месте развалившейся Пашиной хибарки. Сама Паша к тому времени уехала из поселка.

Ленька хотел еще что-нибудь написать Кате, хорошее что-нибудь, но карандаш исписался, царапал бумагу, и он захлопнул тетрадь: «На почте допишу!» Но пока разыскал почту, пока стоял в очереди за конвертами, писать расхотелось. Он заклеил конверты, почтовской ручкой вывел адреса и бережно опустил письма в железный ящик.

День был в разгаре, и Ленька, перекусив в столовой, снова наладился к знакомому камню. Разделся, попробовал загорать, но на месте не сиделось, беспокойство одолевало: заставляло то бродить по каменистому берегу, то взбираться на валун, то лезть в холодную воду. Хотел заняться камнями, целая россыпь их под ногами, и удивился, — не тянет. Выбрал несколько красивых голышей, повертел и швырнул в реку.

А ведь как он любил разглядывать камни в сосновом бору за поселком! Даже когда к выпускным экзаменам готовился: отложит, бывало, книжки под сосну, разворочит сухой мох, а под ним — россыпи мелких камушков. Часами изучать можно. Кварц, полевой шпат, гранит уже тогда различал, но попадались незнакомые, и он гадал — как называются? Вдруг они науке совсем не известны? Вон какая огромная наша земля, навряд ли геологи добрались до всех ее камушков. И мерещились Леньке крутые скалы, изломы пластов в ущельях, где тускло светит жильное золото, сверкают красным огнем рубины...

К вечеру он пережарился на солнце, перекупался, хотя резкая, почти ключевая струя быстро выгоняла из воды обратно к валуну. Ленька оделся, расправился с остатками еды, положенной в чемоданчик. Где провести ночь? В общежитие соваться нечего — и вчера комендантша ворчала. К Ивлеву? Можно бы к Ивлеву, да неудобно: недоволен, что слабосильного ученика подсунули, не стоит лишний раз надоедать. В гостиницу? Документов нет, остались в отделе кадров, а без документов, хоть и с деньгами, кому он там нужен?

— А, ладно! — решает Ленька.— Ночь теплая, пересплю и тут!

Плохо, что никаких снастей нет, а то соорудил бы закидушку, ловил бы рыбу в реке, ночь-то и проскочила бы незаметно.

Медленно, тягуче садилось солнце, багровея и распухая. Облака из золотых превращались в пепельные, как угли, перегоревшие в костре. Костра здесь тоже не разведешь, голый песок да камень. Проблеснула первая далекая и острая звезда, длинные тени легли от береговых откосов, упали на быструю воду, отчего река сделалась страшноватой, чужой. После жары резко похолодало.

Ленька сначала поеживался, потом его стал колотить озноб. Вспомнил он танцплощадку у кинотеатра, где каждый вечер играла музыка. Невдалеке от танцплощадки, в сосновом парке, там и сям торчали пустые киоски, в которых когда-то торговали мороженым и газировкой. На ночь киоски даже не запирались, да и зачем запирать деревянные будки? «Вот где тепло! — сообразил Ленька.— В будках полки есть, поспать можно!» Он обрадовался счастливой мысли и, подхватив чемоданчик, побежал прочь от сумрачного, неприветливого берега.

Добравшись до пустынных уочек города, он побрел не спеша, словно пассажир с поезда, мимо садиков возле одноэтажных домов. В садиках то и дело взлаивали собаки. Попадались редкие прохожие, они не обращали внимания на Леньку, спешили мимо, кто по делам, кто — к теплой постели. Так никем не замеченный, он добрался до соснового парка, из глубины которого неслась громкая музыка, свернул с главной аллеи, чтобы не попасть на танцплощадку, и, поплавив в темноте, наткнулся на одну из брошенных будок. Отворотив дверь, долго шарил руками по полкам, они оказались сухими, даже теплыми от дневного зноя. Ходьба согрела и его самого. Ленька тихонько взобрался на широкую полку, пристроился, согнувшись калачиком, стараясь не греметь, сунул под голову чемоданчик. Наверное, он заснул бы сразу, если бы не оглушающий рев с танцплощадки, где динамики, надрываясь, раз за разом голосили одну и ту же песню, так что он скоро наизусть выучил припев:



Днем и ночью,
Милый, помни обо мне
Днем и ночью!
Я за то тебе пою,
Чтобы ты любовь мою
Охранял в чужом краю
Днем и ночью!

Он вертелся с боку на бок, и скоро стало казаться, что именно она, песня, нагоняет в будку собачий холод, который забирался под пиджачишко, под лопатки и заставлял Леньку трястись всем телом.

«Ведь и танцы еще не кончились!» — ужаснулся он.— «Ночь-то вся впереди!»

Днем и ночью!
Милый, помни обо мне!
Днем и ночью!! —

рыдали динамики. Ленька не вынес, кубарем скатился с полки и стал быстро-быстро приседать, размахивая руками, пока не навалилась усталость, не налилось теплом тело. Снова взгромоздился на полку и, кажется, задремал.

Не раз и не два соскачивал он в ту ночь с деревянной постели, стучая зубами от холода, проклинал себя за неумную стеснительность, вспоминал тепло уютного домика Ивана Ивановича.

Конца ночи не предвиделось. Только когда он совершенно отчаялся, готовый бежать куда угодно от холода, страха и тоски, ночь сжалась: медленно, толчками, как часовая стрелка, начал сереть рассвет. Дождавшись, пока развиднеется настолько, чтобы различать улицы, Ленька покинул деревянное логово и понесся по асфальтированной дорожке парка, а потом по тротуару к большому деревянному мосту через Ухту, поближе к дому Ивлева.

— Стой! — раздался угрожающий голос.

Ленька круто обернулся и стал как вкопанный. Наперевез ему бежали два милиционера.

— Кто такой? Документы! — потребовал один из них.

— Нет у меня документов.

— Куда сломя голову летишь? Удираешь? Украл? — спрашивал второй, забрав у Леньки чемоданчик.

— Дяденьки! — взмолился Ленька.— Ничего я не воровал! Я к Ивлеву! К Ивану Иванычу! Он мне пораньше утром велел...

Милиционер ловко открыл чемоданчик и переворошил скучную рухлядь. Вид учебников успокоил его.

— В техникум, что ли, поступаешь?

— Ага...

— На! Поверим на сей раз. А все-таки не мешало бы тебя в отделение. Без документов, ночью, несется как на пожар...

— Так в техникуме документы,— схитрил Ленька.

— Ладно, кончай! — тронул старший молодого за рукав.—

Тут чисто.

Они повернулись и не спеша направились в ту сторону, откуда прибежал Ленька, а он поднялся на мост и долго с замиранием сердца прислушивался, как стучат за спиной по асфальту кованые сапоги.

Утром Иван Иванович отворил дверь веранды и чуть не споткнулся о скрюченное на ступенях крыльца тело ученика. Он удивленно поморгал заспанными глазами, толкнул Леньку ладонью в плечо.

— А? Что? — в испуге пробормотал Ленька.

— С неба свалился, что ли, топограф? Сказано — в семь? А теперь? А теперь и пяти нет. Заходи, доспиши на диване...

4

— Где отряд-то? — спросил Ленька Ивлева, когда тот, погрузив рюкзаки и непонятные инструменты в кузов мишины, велел ему забираться туда же, а сам открыл дверцу кабины. Иван Иванович хохотнул:

— Чем мы с тобой не отряд? Старый да малый. Такую камеральную съемку отгрохаем — ахнут! — И серьезно добавил: — У нас в тайге база есть, там двое дожидаются. Да двоих по дороге прихватим. Держись, не вылети на ухабе. За инструментами приглядывай.

Он хлопнул дверцей кабины, и грузовик, урча, выбрался на пыльную дорогу, по которой вчера укатили на свои буровые Углецов и Трубкин. Ленька снова задремал, пригретый ласковым солнышком и не слышал, как остановились.

— Опять спит! — разбудил его голос Ивлева.— Ты хоть просыпаешься иногда? Ясно, не просыпаешься. Нам сони не нужны, верь слову!

— Не буду я больше, Иван Иваныч! Просто ночь не спал.

— А где ж ты ночь шлялся? По девкам, что ль?

Рабочие, стоявшие рядом с начальником, а вслед за ними и сам Ивлев расхохотались.

— Во кадра! — покрутил головой Иван Иванович.— Берите шефство, мужики! Знатного топографа сделаем, верь слову! Ежели не заспится, конечно. Ну, айда на склад. Рюкзак возьми! — напомнил он Леньке.

На складе долго выбирали продукты, складывали в рюкзаки тушенку, сущеный горох, крупы разные, макароны, галеты, сахар, чай, курево. А когда расплатились, от Ленькиного аванса осталось несколько рублей. Снова забрались в кузов, взревел мотор, тронулись.

— Никак чокнулся Иван! — прокричал один из попутчиков.— Такую соплю в поле взял!

Второй рабочий, пожилой, в морщинах, согласно кивнул головой, крикнул в ответ:

— А загнется — кому расхлебывать?

Они переговаривались в полный голос, словно не замечая Леньку, который то краснел, то бледнел от обиды. Он сразу невзлюбил и морщинистого старика, и парня со шрамом. «Не дам на шею садиться! — мстительно подумал Ленька. — Не на того напали!» В необъятной куртке, в неуклюжих резиновых сапогах, он напоминал взъерошенного, готового к драке воробья.

— Слыши ты, салага! — толкнул его локтем парень, наслаждаясь, отчего шрам на его щеке будто переломился пополам. — По фене ботаешь? Нет? Чего ж ты? А-а! Тебя от титьки только что отсадили? Горчицей ее мазали, да? Чего молчишь, сосунок!

— Не приставай! — дрожащим голосом выкрикнул Ленька. — Твоя какая забота? Работать я еду, понял! Оформленный!

— Ах ты колючка! — удивился парень. — «Оформленный!» Да я тебе уши повывинчиваю! — и он потянулся грязной ручищей к Ленькиной голове.

Ленька резко отпрыгнул, схватил короткую железную трубку, громыхавшую в кузове.

— Попробуй!

— Брось! — остановил парня со шрамом пожилой. — Нашел к кому вязаться. Отряд решит. В Ухту недолго отправить в случае чего. А ты сядь! — крикнул он Леньке, который, стоя у борта, подпрыгивал от трясков машины. — Тебе в самделе, может, с нами тропу ломать! Поуступчивей надо, поласковей. Ласковое теля, оно двух маток сосет.

— Не буду я сосать двух маток! — запальчиво ответил Ленька. — Никакое я вам не теля!

— А кто ж ты? — пряча улыбку, спросил старик.

— Человек я! Человек!

— Ты у меня в парме попляшешь, узнаешь Петью Хипиша! Челове-ек! Мусор ты, а не человек, — презрительно протянул парень со шрамом и отвернулся.

Ленька присел на рюкзак, одной рукой держась за борт машины, а другой все еще сжимая железную трубку. Сразу расхотелось ехать в тайгу, расхотелось «ломать тропу» вместе с этими людьми. Чем-то парень со шрамом напомнил ему того котласского вора, сходство пугало и настораживало.

На машине тряслись часа два. Ни тот, ни другой рабочий больше не заговаривал с Ленькой, и постепенно он успокоился. Остановились на перекрестье дорог, из кабины выпрыгнул Ивлев, коротко бросил:

— Выгружайся!

Хипиш, вскинув рюкзак на плечо, легко перемахнул через борт, демонстративно растянулся на траве за кюветом. Иван Иванович недобро посмотрел ему вслед, приказал:

— Инструменты давай, Егор!

Старик осторожно опускал Ивлеву упакованные в чехлы инструменты, рюкзаки, а Ленька тем временем слез на землю через противоположный борт. Прощально гуднув напоследок, машина умчалась в тайгу.

— Ну что, брат Ленька? — положил ему руку на голову Ивлев. — Начнем карту делать?

— Начнем!

— Ноги не трет, не давит? Ежели трет, говори сразу, переход большой, верь слову, хоть и налегке.

Ленька с изумлением взглянул на рюкзаки, на чехлы с инструментами.

— Это не груз, — заметил его взгляд Иван Иваныч. — Это, брат, всего-навсего поклажа!

Ленька поднял свой рюкзак с продуктами. Был он не легче мешка, что пришлось тащить месяц назад на сенокос, но и ненамного тяжелее. К счастью, ничего из «поклажи» ему не досталось. Через несколько минут маленький отряд гуськом двинулся по широкой с расхлябаными колеями дороге.

Таких дорог Ленька прежде не встречал. Сама по себе дорога как дорога, конечно, только совсем прямая, словно столб, брошенный до самого края земли. Казалось, она пополам рассекала всю приуральскую тайгу, и трудно было вообразить, что можно когда-нибудь достичь ее предела. Шли час, второй. Холм, чуть заметный прежде в далеком мареве, остался позади, а дорога, или, как ее еще называли здесь, тракт, снова уперлась в горизонт, развалив надвое дремучий лес.

Ленька почувствовал, что начал уставать. Все труднее отрывались от земли пудовые сапоги, ремни рюкзака съезжали с узеньких плеч, стягивая за собой грубую брезентовую куртку. Пот слепил глаза, крупные его капли катились по шее за воротник, на мокрую от испарины спину. Рюкзак вроде бы потяжелел вдвое, так же как вдвое больше стало на дороге рыхтвин и выбоин, за которые то и дело цеплялись ноги.

Расстояние между ним и стариком Егором (тот шел третьим) все увеличивалось. Когда взбирались на очередной холм, Ленька заметно отстал от спутников. А едва они скрылись за гребнем, померещилось, что остался совсем один на опустевшем тракте. Собрав силы, он тухо сжал руками ремни рюкзака, прибавил шагу. Вот и вершина, с которой все так же бесконечным бревном падает вдаль дорога, а Ивлев с рабочими еле видны у подножия следующего холма.

«Велосипед бы сюда! — мечтает Ленька. — Привязал бы рюкзак к багажнику, нажал бы на педали, — только вьет!»

С велосипедом Леньке, прямо сказать, крупно повезло. Однажды весной прибрел Анатолий, неженатый еще тогда, чуть тепленький. Обычно-то Ленька в таких случаях сматывался с глаз долой, а тут не успел, прямо под ноги братцу подвернулся. Ухватил его Анатолий за рукав, сидя на деревянном диване, придинул, зажал коленями.

— Братуха! Ты у меня надежный человек? Надежный, да? Вот и станем мы с тобой вместе жить. И никого нам не надо, верно? Чего молчишь? Верно или нет?

— Верно... — чуть выговорил Ленька, потупив голову.

— Вот! И никого нам не надо. А для тебя... Говори, чего хочешь, все сделаю! Ну! Чего?

— Ничего...

— Не должно того быть, чтобы ничего! Каждый человек чего-нибудь да хочет. А ты человек? Человек! Вот и говори мне: чего ты хочешь-желаешь? Говори!

Ленька и рискнул. Само собой, была у него тайная мечта, заветная, как у любого мальчишки. Только больно уж сказочная — велосипед. Такой, как у Славки Скороходова, сына директора лесозавода: со скрипучим кожаным седлом, с изогнутым сверкающим рулем, на концы которого надеты чехлы из рубчатой резины, с багажником, с насосом, прикрепленным к переднему стержню рамы. Зажмурь глаза — и вот он, перед тобой, хоть пальцами провели по певучим спицам! Да что мечтать! Цена велосипеду — восемьсот, а то и вся тысяча рублей, больше месячной зарплаты Анатолия. Никогда бы Ленька и заикнуться не посмел о такой покупке, если бы зло не взяло: вишь, сultan какой — «все сделаю!» Из жестких братниных колен тоже выбираться надо, а как? Тут он и выпалил:

— Велосипед хочу!

Расчет точный: сразу пропрэзвел Анатолий и колени разжал. Но от слов своих вчерашнему фронтовику отказаться вроде негоже. Помолчал и говорит:

— Заметано! Будет тебе велосипед.

Долго обещанного ждать пришлось. Сомнение брало, когда на брата поглядывал: тот жениться успел, не до велосипеда ему, каждый вечер свою Машу под ручку да то в клуб, то к приятелям, то на речку. Ныло у Леньки ретивое: неужели обманет? Или забудет? И не напомнишь, не потребуешь, считай, оба с матерью на иждивении у молодоженов живут. Что там пенсия да материна зарплата — слезы!

Тот день Леньке запомнился не меньше чем день Победы. Хоть и не намекнул даже Анатолий, а предчувствие одолевало, с обеда около дома крутился, на рыбалку ребята и то не могли зазвать. И дождался! Часов в восемь, солнышко уж садилось, и пыль осела, показался из-за сосен брат Анатолий: одной рукой велосипед катит, другой насосом размахивает.

— Уговор дороже денег! — хохотнул он и толкнул велосипед ошалевшему Леньке.— Владей!

Ленька и «спасибо» не смог выговорить, язык отнялся. Стоял возле брата да гладил кожаное седло машины бережно, будто котенка.

Ленька напрягся, вскинул рюкзак повыше на загорбок и продолжал вспоминать те приятные дни. От этого легче вроде шагать.

Он ведь глаз не сомкнул в ту ночь, поднялся — четырех еще не было да по росе босиком выкатил свою драгоценность за калитку. Тихо в поселке, ни одна живая душа не попалась навстречу, ни одна собака не взлаяла, пока вел велосипед к школе, к ручью. Дорога там круто к мостику сбегала. Где же еще учиться ездить, как не здесь, размышил Ленька, посторонних глаз нету, а под горку «Прогресс» сам покатится, не надо и педали крутить.

Но, оказывается, не все спали в ту ночь. На самой горке перед мостиком встретилась ему подвода с молочными бидонами. Возчик, пожилой бородатый мужичок, остановился, поглядел, как Ленька неуклюже пытается сесть в седло, и сказал:

— Однако, парень, не умеешь кататься-то? Поучиться, поди, приехал?

— Ага.

— Так ты вот меня послушай. Ты с горы-то не езди. Свалившись с разгона, себе синяков насадишь — не велико горе, а ведь изломаешь машину-то. Ты поезжай-ка вон лучше к огороду. Место ровное, сухое, вот там и учись.

Мужичок понукнул лошадь, и телега, гремя бидонами, поползла в гору, а Ленька послушал доброго совета. Только к завтраку вернулся он домой, и впрямь весь в грязи да в синяках, зато машина целехонька.

Не худо бы велосипед-то сюда, на тракт, да что мечтать о несбыточном! Чего нет, того нет...

Солнце палило, и Ленька, не в силах больше сопротивляться изнуряющей жаре, усталости и слабости, остановился, скинул на землю ношу, торопливо снял куртку. Даже в эти короткие мгновения тело блаженно отдыхало. Тянуло упасть тут же, где стоишь, прямо в тяжелую глинистую пыль. Но те, передние, подобрались уже к середине нового подъема, их фигурки становились все мельче, словно игрушечные. Испугавшись, что никогда не догонит их, напрягаясь всем телом, он вскинул рюкзак на плечи, схватил мокрую от пота куртку за ворот и торопливо начал спускаться с вершины.

Теперь он шел мерным шагом, и то ли от монотонности движений, то ли от «второго дыхания», но меньше стала чувствовать жара. Его окутало странное отупение. Ленька не сказал бы сейчас, сколько времени меряет засохшую, в тре-

цинах, глинистую дорогу — час, день или неделю. Так в полу-
забыть и добрел до вершины нового холма.

Здесь, огляделвшись, он чуть не вскрикнул от радости: спутники сидели на обочине почти рядом, метрах в двадцати. «Привал!» — догадался Ленька, и плечи снова остро заныли, натянутые ремнями рюкзака. Но едва он приблизился к отряду, как Ивлев буднично сказал:

— А вот и ученик. Двигаем, стало быть? Двигаем.

Рабочие не спеша поднялись и пока влезали в лямки рюкзаков, Ленька прислонился ношей к стволу старой осины, чтобы ослабить тяжесть, давящую плечи.

— Ну, как дела? Голова еще цела? А? Как дела-то? — спрашивал Иван Иванович вроде бы равнодушно, но по цепкому его взгляду Ленька понял: вопрос задан неспроста, и весь предыдущий путь был не просто трактом, он был и экзаменом ему, Леньке. И еще понял он, что не может, не имеет права провалить сегодняшний экзамен, как тот, техникумовский. Смахнув брезентухой пот, он устало оглядел Егора, Хипиша, Ивлева, их заинтересованные и ждущие лица, ответил спокойно, с хрипотцой:

— Нормально!

— Славно! — будто обрадовался Иван Иванович и доверительно сообщил: — Теперь недалеко, больше половины отмахали, верь слову.

И опять потянулась нескончаемая прямая дорога, которую пятнали уже пестрые тени высоких елей — солнце постепенно клонилось к западу. Под покровом этой жидкотени шагать было чуть прохладней, но и усталость к вечеру наваливалась сильнее, не та усталость, что поначалу, а страшная, каменная, когда знаешь: упадешь — не встанешь.

Ленька снова далеко оторвался от попутчиков и больше не шарил глазами впереди, отыскивая на тракте их маленькие фигурки, он глядел прямо перед собой, еле переставляя ноги. Красный туман волнами бился в виски.

Он не удивился и не обрадовался, когда обнаружил, что шагает улицей между двумя рядами приземистых бараков, хотя и знал, что поселок этот — цель их пути. У колодца с острой двускатной крышей, морщась от боли в плечах, стряхнул рюкзак и, с трудом открыв крышку, снял с гвоздя ведро с остатками воды. Жадно, обливаясь, напился. Чья-то рука мягко, но настойчиво отняла у него ведро, и Ленька обидчиво выпрямился.

— Не треба з дороги лышку пить! — сказала пожилая женщина, приветливо улыбаясь. — Це ты Ленька? От прохиндеи проклятуши! Загнали хлопца! Пишлы, Ленчик, до хаты.

— А вы кто? — благодарно спросил Ленька.

— Та я ж Настя! — ответила женщина, будто удивляясь

его вопросу.— С нашего ж отряда, повариха. Ось мы вмestях и станемо тропу ломати.

У Леньки отлегло от сердца. Не все, стало быть, в отряде такие злые, как Егор с Хипишем.

Женщина отворила дверь в прокуренную насквозь комнату одного из бараков и с порога обрушилась на мужчин:

— Совести в вас немае! Кинули дытыну на трахе! Таке мале! Чи вы не бачили, що вин ног не тащить? Иван Иваныч, тоби кажу!

— Не горячись, Настасья. Проверяли парня. Скис бы, значит, отправили бы завтра обратно. Велик путь — двадцать пять верст? Не велик. В тайге похлеще достанется. А он, вишь, сдюжил, мал да удал. Кремешок парень, не гляди, что хилый. Втянется, добрым топографом станет, верь слову! Так, что ли, Ленька? Тяжел хлеб у топографов? Тяжел, брат.

Ленька молчал.

— Чего встал у порога? Проходи, садись, — вмешался невысокий черноволосый человек, обхватив Леньку за плечи сильной рукой и усаживая на табуретку к столу.— Не стесняйся! Ты теперь наш. Держи! — и подвинул алюминиевую кружку с горячим чаем.

— Все в сборе? — спросил Ивлев.— Значит, с учеником вопрос ясен. Берем в поле.

— Обрабатывать станешь, начальник? — угрюмо кинул из угла Хипиш.

— Не надорвешься! — жестко оборвал Ивлев.— Ему ставка ученика положена по штату, твою деньги не загребет.

— А хоть и так. Помощничек, е-мое! Обузу берешь, начальник!

— Хипиш! — с нажимом сказал черноволосый, которого, как и начальника, звали Иваном.— Забыл? Ну и заткни хлебало!

— Все! Поговорили и будет! — пристукнул ладонью по столу Ивлев.— Зажги свет, Настасья.

Тускло вспыхнула пыльная лампочка. Иван Иванович сдвинул рукой с края стола остатки еды, расстелил на освободившемся месте карту.

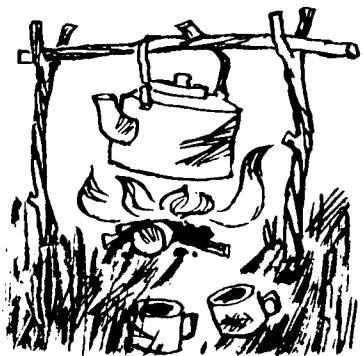
— Давайте поближе. Маршрут такой: от буровой на Зеленце по азимуту... Вот так. Конец — здесь. Места дикие, болота, тайга. Обязанности всем известны. Егор с Иваном — на промер, Настасья с Петром — на рейке.

— А он? — кивнул Егор на дремлющего Леньку.

— Его на прорыв, где запарка, — улыбнулся Иван Иванович. — С таким кремешком разве пропадем? Не пропадем, верь слову!

— Пишлы, кремешок, уложу, — подхватила Настасья ивлевское словцо. — Заморився завсе.

Едва успев стянуть сапоги с распаренных ног, Ленька про-



валился в бездонный колодец мертвого сна и не слышал, о чем толковал начальник с рабочими.

Утром он пробудился раньше всех. Иван спал на деревянной кровати, Петр Хипиш — на полу у стены, как и Ленька. Куда подевались Егор, Настасья, Иван Иванович, он не знал, хотя и догадывался, что они где-то здесь же, в бараке, только в других комнатах. Ленька с трудом сел,

протер глаза. Болели плечи и ноги, ломило спину, и он со страхом подумал о предстоящем походе, который обещали тяжелее вчерашнего. «Может, втянусь?» — попробовал успокоить себя и вдруг встретился взглядом с черноволосым Иваном.

— Выспался? — громко спросил Иван.

— Вроде, — улыбаясь, ответил Ленька. — А вы здесь и живете?

— Давай на «ты»! — улыбнулся в свою очередь Иван. — У нас «выкаты» не принято, не та публика. А я не все время тут живу, когда можно, в деревню убегаю, деревня у меня рядом, пятьдесят километров всего. А то и в Ухту мотаю, как погулять захочу. Нам, бродягам, везде дом, хоть в парме, хоть в городе.

— Иван, что такое «парма»?

— Лес, тайга... Пармой ее здесь, в Коми, зовут.

— В отряде есть коми? — не удержался Ленька.

— Да я, почитай, один местный. Хоть и русский, да здесь родился. А остальные... Егор с Хипищем после заключения, на высылке, срок подойдет, уедут. Настасья по вербовке сюда попала. Теперь вроде и договор у нее кончился, да прижилась, не выгонишь. Ну а Ивлев, сам знаешь, начальник.

«Занесло меня!» — поежился Ленька. О ком, о ком, а о заключенных он наслышался. По рассказам, на соседней от них станции за рядами колючей проволоки помещался лагерь, и каждую весну бежали там из-под стражи заключенные, шастали по окрестным лесам, пока не поймают. Много ходило по поселку страшных историй о встречах с беглецами, которые хорошо, если ограбят или разденут, а то и убьют, бывали случаи. Теперь вот в одном отряде, в глухой тайге надо с заключенными жить...

— Ты не бойся! — понимающие успокоил Иван. — Ты за меня держись, в обиду не дам.

— Спасибо, — пролепетал Ленька.

— У нас тут свои законы. На сотни верст один милиционер, за всеми не углядишь, а народ отпетый, огни и воды прошел.

Так что кто финтить начнет: воровать или там обижать, суд короткий — ребра переломают. Ну, будет валяться, пора и подниматься.

Ленька вместе с Иваном умылся во дворе: поливали на руки из ведра. Стало немного полегче, хотя плечами шевелить больно по-прежнему. После завтрака все собирались, впряженные в рюкзаки, распределили груз. Леньке досталась длинная, расчерченная красными и черными полосами рейка. Иван Иваныч нес мелкокалиберную винтовку и нивелир, остальные разобрали топоры, посуду, палатки.

— Сегодня пустой переход, без работы,— объяснил Иван, бесшумно шагая рядом.— До буровой на Зеленце недалеко, там заночуем, а завтра — на тропу.

5

Ночевка на буровой запомнилась надолго. И не оттого что устал. Устал он, пожалуй, меньше, чем накануне. А потому что пустующий барак, оставленный строителями, кишмя кишев клопами. Ивлев и Настасья, поворочавшись, с руганью убежали к костру. Скоро вслед за ними подался Иван. У костра было холодно, зато спокойно.

Леньку с вечера уложили на стол как на самое безопасное место. Сперва усталость сморила, но часа через два он пробудился от зуда. Все тело, словно натертное крапивой, горело. По рукам, по груди, по шее и даже по лбу пробегали юркие насекомые. Он раздавил одного, другого, третьего, но атака не прекращалась, клопы валились на него с потолка, лезли по ножкам стола: злые, изголодавшиеся. От рук пахло невыносимо мерзко.

Позавидовав терпению Егора и Хипиша, которые похрапывали на голых досках деревянной кровати, Ленька в конце концов не выдержал и кубарем выкатился из барака. Сбежавшие спали на грудах еловых лап вокруг мерцающего последними угольками костра. Ленька подкинулся в костер хвороста, запасенного с вечера. Спящие зашевелились, придвигаясь поближе к теплу.

Он тоже пристроился на лапнике, все еще почесываясь и разыскивая на себе клопов. Потом загляделся на перебегавшие с ветки на ветку огоньки. На миг показалось, что снова он на сенокосе с матерью и братом Анатолием, что и поезд, и Ухта, и техникум, и тяжелый двухдневный переход с рюкзаками — все это длинный томительный сон, который только что кончился, и вот-вот раздастся незлобивый голос матери:

— Некогда рассиживаться! Бери ведро, воды с родника принесешь.

Родник от вырубки, где они сено косили, далеко был, в низине. Обратно с водой тяжело, а туда, налегке, вроде

прогулки, только кружка в ведре побрякивает. Сразу за вырубкой, в сосняке, черничник: ягод высыпало видимо-невидимо. Присядет Ленька на минуту, схватит горсти две и дальше. Вот и матерый сосновый выворотень, под ним маленькое оконце, на дне которого бьется, дышит крохотный песчаный бугорок.

Первая кружка — себе. В жару, с поту, с дороги что лучше кружки родниковой воды? Нету такой сладости на земле, а если и есть, так Ленька о ней не знает. Со звоном льется вода в ведро, кружка за кружкой, а родничок, на вид такой махонький, не убывает.

На сенокосе даже вечером все при деле. Мать картошку чистит на суп, брат на широком пне наковальню приспособил и отстукивает молотком кусы, Ленька чай кипятит.



Косить с утра стали. Не раз и не два пришлось показать Леньке и как косу держать, и как взмахивать, прижимая пятку косы к земле, чтобы носок в землю не втыкался, и как вести ее, чтобы траву резала, а не мяла. Помучился он изрядно, до ругани доходило, пока не понял секрета. А секрет понял, когда мать про себя рассказала:

— Мне отец-покойничек говоривал, когда косить учил: старайся, дочка, маленькую травку скосить, а большая-то — даром!

И верно, подумал Ленька, ведь какая у меня цель? Чтобы травы побольше накосить. Значит, брать ее надо под самый корешок, любой маленький листик срезать. А вместе с маленькой большая трава сама скосится, и заботиться не надо. Вторая цель — косу не изломать, стало быть, поглядывай в оба, где корень, где кустик, где какая неровность или палка, особенно около больших пней. Главное, не торопись, лучше меньше, да чище. К вечеру первого дня вроде бы и получаться стало, приноровился, но когда Анатолий косу у него взял, чтобы направить, головой покачал:

— Ты не железную траву-то косил? Не коса, а пила, не знаю, как и отобью. Неси ее к шалашу да костер разводи, суп разогревай.

И суп разогрелся у Леньки, и чайник вскипел, солнышко зашло, а мать с братом все на вырубке пластились. Три раза кричал им, а когда к костру подошли — лица обожженные, красные, головы белыми платками по-бабы повязаны — от комаров. Намахались так, что почти не разговаривали, только спросил Анатолий у матери:

— На стог не свалили, как думаешь?

— Не-ет, Толя, далеко тут до стога. Косить-то, вишь, больно худо, ломье да пенья...»

Выпил брат кружку крепкого чая, закурил и опять сел косы отбивать. Понеслись над вырубкой звонкие удары железа по железу, потрескивал сушняк в костре, стрелял ядренными угольками. Лежал Ленька возле костра на боку, любовался на то, как тянется к небу, к далеким и тихим звездам синеватый дымок, как чуть пошевеливаются под током тепла чуткие листья стоящей обочьи осины, и думал: сколько вечеров и ночей у костра придется ему ночевать? И как много для такой жизни уметь надо: и костер в сыром лесу разжечь, и похлебку сварить, и балаган срубить, и косить, и корзину сплести, да разве все перечтешь...

— Ленька! Что-то ты вроде поступать собрался, а с книгой я тебя ни разу не видел? Или тебя без экзаменов возьмут?

— Без экзаменов не возьмут, да ведь в Ухту едем, спрос там невелик, не то что в Донбассе.

— Все-таки готовиться надо. Вот сенокос кончим, садись за учебники.

— Ясно.

— Ложитесь-ко спать, робятки, — зевнула мать, перетирая посуду. — Завтра рано разбуджу, до солнышка...

Зашевелился спросонья Иван, пробормотал что-то, и пропало видение, и снова подступила тревога: как-то завтра начнет он, Ленька, «ломать тропу». Почему же дела ему никакого не назначили? Неужто вправду нахлебником жить? Да ведь и не научишься ничему без дела-то.

Наstudив спину, Ленька повернулся на другой бок. Когда глаза привыкли к темноте августовской ночи, поразился, сколько ярких и крупных, словно ягоды, звезд высипало на небо. Все вместе они вроде бы не так уж и далеко, а если смотреть на какую-то одну, то упливает она, удаляется на сумасшедшую глубину, и чем пристальнее смотришь, тем стремительнее летит в пустоту, в бездну без конца и предела. Одиночко и жутко следить за такой звездой, которую не догнать взглядом, не постичь умом...

Запели комары тонкими голосами, то один, то другой касались холодными лапками лица. Ленька снова повернулся к

костру, зябко запахиваясь в куртку. Тяжелый завтра день, соснуть бы...

День начался необычно. Рабочих не узнать: куда делось благодушие Ивана, несердитая воркотня Егора, приветливость Настасьи! Торопливо и молча поели, принялись за сборы.

— Лишний груз «оформленному» сбагрим,— бросил Хипиш, кивнув на Леньку.— Я на рейке да на пикетах выкладывайся, а он что за бугор?

Никто не возразил. Наоборот, Ивлев протянул руку:

— Давай рюкзак.

И посыпались туда мешочки с крупой, с сахаром, банки с тушенкой.

— Хватит, пожалуй,— остановил Ивлев. Приподнял рюкзак, взвесил на руке, с сомнением посмотрел на Леньку.— Ну-ка, надень.

Ленька еле рюкзак от земли оторвал. Кто-то помог ему продеть руки в лямки. Под тяжестью Леньку повело сперва влево, потом вперед.

— Снимай! — скомандовал черноволосый Иван.— Чокнулись? Тут килограммов сорок будет!

— Себе возьми! — буркнул Петр.— Покланяешься с грузом на ленте, не то завякаешь.

Иван молча раздернул веревки, стал перекладывать банки в свой рюкзак. Иван Иванович тоже взял несколько мешочек, зато принес тюк с палаткой.

— В руках унесешь. Торопиться тебе некуда? Некуда. Пока съемку делаем, на палатке посидишь, отдохнешь.

Ленька не возражал. Он бы с радостью захватил и весь груз, освободил бы от него отряд, чтобы работалось налегке, если бы не подламывались ноги под непосильной ношей.

— Каково теперь? — спросил Ивлев.

— Нормально! — ответил Ленька, клонясь вперед, чтобы не упасть.

— А раз нормально — двинули! — и начальник первым скрылся за деревьями, таща за плечом «мелкашку», а на плече треногу с геодезическим прибором — нивелиром.

Ленька и моргнуть не успел, как оказался позади всех на узкой визирной просеке, прорубленной для съемки. Сперва донеслись до него удары топора, а немного погодя он догнал и топографов. Опустив палатку на землю, прислонившись рюкзаком к стволу сосны, он наблюдал, как Ивлев устанавливает треногу нивелира, то и дело поглядывая на уровень. Егор с Иваномшли впереди с металлической мерной лентой. Передний, Иван, натянув ленту, опускал в прорезь длинную стальную шпильку, которая втыкалась в землю, и двигался дальше. Добравшись до шпильки, Егор командовал: «Хорош!», и снова Иван прислонял ленту к земле, снова пропускал в прорезь блестящую шпильку, которую потом вынимал Егор. Ивлев

тем временем навел трубу нивелира на ту рейку, что держала Настасья. Покрутив винты, Иван Иванович что-то записал в журнал. Потом повернул нивелир в другую сторону и навел на рейку Хипиша. Отдохнувшему Леньке стало совестно за свое безделье.

— Иван Иваныч,— спросил он,— может, все-таки мне какая работа будет?

— Приглядывайся... Не мешай... Это твоя работа...— между записями в журнале отвечал Ивлев рассеянно. И вдруг ожидался:

— На стоянке кое-что объясню. Шурой вперед, от мужиков не отставай.— Отстанешь, верь слову,— пропадешь.

И Ленька черепахой побрел туда, где стоял с рейкой Хипиш. Не успел он миновать Петра, как тот рявкнул:

— Стой, не шевелись!

Ленька замер, пытаясь обернуться, но тяжелый рюкзак горбил его, мешал. Петр подскочил, схватился за тяжелую лапу ели рядом с Ленькой.

— Куда зыришь? Вон! Змея! — ткнул он пальцем в сторону, где шли с лентой.

Ленька побелел, вперился глазами в зелень мха, боясь шевельнуться, чтобы не наступить на гадюку. Что-то с силой ударило его сзади по рюкзаку, и он нырком полетел в мох.

— А-а! — сдавленно крикнул Ленька и, несмотря на тяжесть, мигом вскочил на ноги.

Хипиш почти пополам перегнулся, похлопывал себя руками, как петух крыльями. Но уже через минуту ему стало не до смеха: черноволосый Иван железной пятерней схватил за грудки, крепко встряхнул.

— Еще раз... Еще только раз...— сквозь зубы процедил он.— Ты меня знаешь.

Брезгливо оттолкнув Хипиша, Иван поднял топор и, не оглядываясь, углубился в ельник вырубать колышек для пикета. Такие колышки ставились на просеке через каждые сто метров.

Только теперь, по качавшейся до сих пор лапе ели Ленька сообразил, что произошло. Хипиш специально заставил его отвернуться, а потом резко отпустил отогнутую тяжелую ветвь, которая и ударила сзади по рюкзаку. От обиды глаза застлало слезами.

— Эх вы... Люди...— только и смог вымолвить Ленька.

— Заткнись, шалава! А то... Брюхо распорю и кишки на кулак намотаю! — просипел Хипиш и, схватив рейку, торопливо зашагал вперед.

Ленька с ненавистью посмотрел ему вслед. Эх, жалко, нет здесь Трубкина с Углецовым! Вместе-то показали бы они ему, где раки зимуют! Навек бы охоту отбили руки распускать!

Приблизился ничего не заметивший Иван Иванович, пошутил:

— Ну как, кремешок, первый рабочий день? Подается, говоришь? Подается! Сейчас мы тебя на сообразительность проверим. Направление, куда двигаемся, какое?

— Юго-восток, — буркнул Ленька, понемногу успокаиваясь.

— Верно! И как соображаешь, кремешок, прямо мы пойдем или свернем?

— Чего сворачивать, раз по просеке...

— Опять угадал. Молодец, верь слову, молодец. Так что нам надо сделать, чтобы темпы повысить? Чайку нам по кружечке хватануть надо прямо на ходу. А костер, сам понимаешь, разводить некогда. Вот и займись. Да не здесь, не здесь! — поморщился он, заметив, что Ленька готовится снимать рюкзак. — Видишь там, в километре примерно отсюда, высокая осина? Под осиной и чайку выпьем, а?

— Понял, Иван Иваныч! — ответил Ленька, светлея лицом. — А змеи здесь водятся?

— Не видал,— равнодушно бросил Ивлев, устанавливая нивелир. — А хоть бы и водились. Ее не трогай, она не тронет...

Ленька обрадованно подхватил палатку, обогнал рабочих и побрел по просеке, держа перед глазами корону высокой осины, наполовину уже расцвеченнную красными листьями. Отсюда дерево казалось не очень далеко, но редкий ельник постепенно сошел на нет, открыв за собой низину, широкую и болотистую. Осина высилась по ту сторону болота, за непролазью ивняка.

Сперва он обрадовался, думая, что в низине, покрытой густым мхом и островками осоки, идти будет легче, чем по лесной просеке. Но через десяток метров ноги стали проваливаться чуть не по колено, захлюпала вода. Ленька опасливо остановился, приглядываясь к травянистым островкам: не засосет ли? Ухнешь, и маму закричать не успеешь. Он повернулся к лесу, однако отряд был еще далеко. Вспомнились лица: злое, с багровым шрамом — Хипиша, озабоченное — Ивлева, потное, с нездоровой бледностью — Егора, распаренное лицо Насти. По такой жаре и впрямь невмоготу пить захочется. Нет, пока можно, надо брести.

Еле выдрав ногу, Ленька сделал первый шаг, второй. Болото, все в следах рубивших просеку рабочих, мягко пружинило, но держало, и Ленька двинулся смелее, остро чувствуя, как впиваются в натруженные плечи ремни рюкзака. Скоро и болото перестало казаться страшным, страх заслонило желание поскорее выбраться к осине, чтобы сбросить рюкзак хоть на минуту.

С трудом миновав болото, Ленька заколебался: не снять ли ношу? Но тотчас отогнал эту мысль. «Доползу! — думал он,

стиснув зубы.— Что, я уж совсем слабак? И раньше приходилось не легче. Вон после экзаменов, на канаве...»

Тогда, сдав последний экзамен, Ленька рано домой вернулся. Хотела мать подсунуть племяннику — отговорился:

— В огороде водой все залило. Глянь, трава прет. Давай скожу канаву почищу.

— И то дело,— согласилась мать.— Верно, что заплыло все.

Огород Медведевых спускался от большой дороги к берегу Кубинки. То ли ключи били где-то, то ли река подпирала подземную воду, Ленька не разобрался, но стоило неделю-другую не почистить канавы, и гряды с картошкой начинали мокнуть, затягиваться сорной травой — мокрицей. А это похуже землетрясения, потому что какая жизнь зимой без картошки? Ноги протянешь.

Разгребать канавы он всегда начинал снизу, от берега. Сперва прокопает небольшие канавки за изгородью, с хрустом разрезая лопатой свежую дерновину, а когда зажурчат в них ручейки, перебирается в огород. Стенки заплывших канав зачищал лопатой на конус, чтобы верх был вдвое шире, чем дно. Срезанная земля валилась вниз, размокала, и черная жижа стекала по черенку лопаты всякий раз, когда Ленька выкладывал лишнюю землю со дна на бруствер. Вначале копать приходилось немного, но чем ближе подбирался он к верхнему концу огорода, тем глубже становилась канава и все больше походила на фронтовую траншею.

Сперва работалось в охотку, не успевал стряхивать со лба крупные капли пота. А когда одолел две канавы и принялся за третью, больно заломило спину. Воткнул лопату в землю, выпрямился, переступил ногами в раскисших сапогах, помахал руками. Ладони горели от мозолей.

«Эх ты, геолог! — презрительно подумал тогда о себе Ленька.— А ежели в камне бить шурф придется? Сразу и лапки кверху?»

Он снова схватился за лопату, подавляя боль в руках, представляя, что пробивается к глубоко запрятанному пласту руды, которая вот-вот сверкнет под лопатой.

Но как там ни представляй — спина не железная. Все меньше земли зачерпывается на лопату, все тяжелее выкидывать ее наверх. Добравшись до середины огорода, подумал: не отступиться ли? В ногах дрожь, лопата с оглоблю кажется, поясницу ломит нестерпимо. Постоял, отдохнул, послушал, как мычат и брякают колокольцами коровы, бредущие с выгона. «Нет! Надо докопать. Последнее дело работу бросать на половине!» И снова нагнулся, подбирая на лопату бурую жирную грязь. А когда одолел, дополз-таки до конца гряды, еле из канавы выкарабкался, до того уломался.

Вот и теперь...

Наконец-то! Она, осина-ориентир. Ствол ее, морщинистый и бурый, вдвое толще, чем у соседних деревьев. Сходить на ручей по воду, набрать сучьев, наладить таганок и запалить костер — не великий труд, не то что шастать с двухпудовым рюкзаком и палаткой по болоту. Поправив накомарник, чтобы меньше жучили шею вездесущие комары, Ленька присел у костерка. Снова нахлынули сомнения. Нет, не будет ему жизни в отряде! Мало ли, что сегодня застулся Иван. Другой раз, может, и не застулся...

«Будут бить — уйду! — размышляет Ленька.— По просеке выберусь к Зеленцу, а там — одна дорога. Учить небось не учат, а бить... В машине еще примеривался. Пусть попробует! Меня и Анатолий пальцем не трогал».

Забулькал чайник, плеснул водой в костер, подняв быструю струю пара. Ленька расстегнул кармашек рюкзака, достал чай, заварил.

«Ладно, убежишь по тропе, а потом? Без денег, без продуктов и до Ухты не дотянемся. Да и не ремесло это — с места на место бегать. Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Не научат? Так им сейчас не до меня, ясно. Сам приглядываться стану, как Ивлев работает. А ударит Хипиш — сдачи получит!»

Ленька с сомнением поднял свои маленькие грязные кулаки. И почему он так тихо растет? Вроде бы и времени пролетело — уйма, а ему все только четырнадцать с хвостиком. С маленьким совсем хвостиком...

На просеке раздались голоса, сперва неразборчиво, потом отчетливее.

— Эй, кремешок! Живой? — окликнул Иван.

— Живой! Чаю вам согрел!

Затрещали под ногами сухие сучья. Иван, а следом Егор торопливо подошли к костру.

— Молодец, Лешка! — отирая пот, поблагодарил Иван.— Веришь, семь потов сошло на проклятущем болоте, пить охота — страсть!

Егор, весь серый, опустился на землю, сидя неторопливо снял рюкзак, одобрительно и ласково посмотрел на Леньку, разливавшего чай по кружкам.

Показался Хипиш, егозливо отмахиваясь от комаров.

— Работка, язви ее! — выругался он. Прислонил рейку к осине, швырнул рюкзак на землю.— Закаивался, балда, в парме промышлять, нет, опять залетел! Вкалываю! Я — вор — вкалываю! Позор на всю Печору!

— Припекло Хипиша! — оскалил Иван в улыбке белые зубы.

— Эй ты, «оформленный», плесни чифиря! — скомандовал Хипиш, будто ни в чем не бывало.

Со съемкой в ельнике и на болоте провозились дольше,

чем рассчитывал Ивлев, а потому обедать решили тут же, у осины, и Ленька обрадовался долгому отдыку. Он ожил, повеселел и даже разговорился с Настасьей, которую топографы послали кухарничать.

— А правда, что вы по вербовке здесь?

— Правда.

— И срок кончился?

— Та вже ж кончився.

— А почему же вы не уехали! — искренне удивился Ленька.— В тайге даже мужикам тяжело...

— Чого не поихала? Та як тоби казать, хлопче? Не то що по охоте роблю...

Она счерпнула ложкой пену с котла, отмахнулась от дыма и сказала доверительно, понизив голос:

— Це я Егора свого дожидаюся. Мабудь, годик ще остався, а там поїдемо на Україну. Руки е... Станемо робити умістях. Ось така жижня, Ленечка...

За обедом Ивлев спросил:

— Понял, чем мы занимаемся, кремешок?

— Не совсем,— честно признался Ленька.

— В общих чертах так: помогаем геологам нефть искать. Она, брат, капризная дама, верь слову! Когда-то, в незапамятные времена, в здешних местах море было, слыхал, поди? А в море, как и в любом водоеме, на дно разная разность оседает: водоросли отмершие, живность погибшая. В мелких да болотистых местах целые леса дно устилают. Тысячи лет проходят, и образуется толстый слой органических осадков, из которых при каких-то непонятных пока условиях нефть образуется. Потом дно старого моря в этих краях поднялось и пошло его корежить: изнутри магма напирает, наверх рвется, слабые породы вспутивает, твердые — ломает, в складки собирает, друг на друга надвигает...

Тут такое творилось! В одном месте пласт вздует колоколом, в другом — вдавит, как миску. Больше всего в таких мисках, по-научному они синклиналями называются, нефть и скапливается.

— А как узнаешь, где такая миска? — удивился Ленька.— Сверху ведь не видно, лес да болото...

— Молодец, кремешок, в самую точку бьешь! Для того мы и ходим, высоты местности измеряем, а потом на планы да на карты наносим. Увидит геолог нашу карту и сразу по высотам местности над уровнем моря определит, где синклиналь может быть или другое нефтеносное место. А после уж в поле проверяет выходы пластов. Если и разведка подозрение на нефть даст, тогда что? Тогда оборудование завозят, ставят буровую. Тут уж как повезет. Иной раз в самую жилу попадут, фонтан ударит, а бывает, и впустую проканителится. Наврем, к примеру, мы, топографы, будем планы неточные — сколько

зазря дырок в земле провертят? А ведь каждая скважина — кучка денег...

— От той кучи мне бы хоть половину! — мечтательно сказал Хипиш.— Ох и закатился бы я в Питер! Ох и пофасонил бы!

— Кому что, а дурню усе балалайка! — отмахнулась от него Настасья.

6

Протянулось несколько тяжелых одинаковых дней: с потом, со зноем, с комарами, с болью во всем теле. Натертые до багровых синяков плечи у Леньки затвердели, болели вроде бы меньше, чем вначале, зато чаще одолевала слабость, начисто пропал аппетит. А темп работы отряда все ускорялся, и Ленька со страхом думал, что долго не выдержит, свалится. Вчера от ужина отказался, еле кружку чаю выпил да на карачках в палатку вполз. Не надеялся и встать утром, однако опять отлежался, опять силы откуда-то взялись.

Тащась с грузом, вдруг удивился, что почти освоился в тайге: вовремя успевал и чай вскипятить, а топографы часто пить просили, и приглядеться к тому, как они временные репера да пикеты ставят. Страх перед пармой куда-то исчез. Дома, бывало, идешь незнакомым лесом — жуть берет, хоть и поселок рядом, и железную дорогу слышно, как поезда там грохочут, и деревни по всей округе. Здесь — в глухи глухой бредешь, но страха нет, может, оттого что люди близко? Даже встреча с медведем не пугала, и не думалось о ней вовсе, тем более что Иван Иваныч пошутил:

— Мы, кремешок, дымом до того пропахли, что медведи за версту нас обходят, верь слову!

И все-таки, когда раздался шум совсем рядом, Ленька от неожиданности оторопел. Оказалось, спугнул выводок крупных рябчиков. Сообразил и устыдился: будто век рябчиков не спугивал! Дождался Ивана с Егором, они, как всегда, впереди всех кланялись с мерной лентой, рассказал про дичь.

— Верно, что рябки? — загорелся Иван.— Не перепутал?

— Да я их как облупленных знаю!

— А не как ошипанных? — усмехнулся Егор. Иван, не слушая его, бросился к Ивлеву за винтовкой. Скоро он вернулся и, щелкнув затвором, скрылся в лесу.

— Поторапливайся! — крикнул вслед Егор.— Стоять недосуг!

Иван не ответил, но вернулся скоро.

— Не нашел,— смущенно сказал он.— Далеко, видать, улетели.

И предложил Леньке:

— Хочешь — бери винтовку. Авось попадутся. Дотащишь?

— Дотащу! — у Леньки заблестели глаза.

— На еще три патрона,— он высыпал на Ленькину ладонь три маленькие тяжелые пульки. — Да отдыхай почаше, не надрывайся!

Положив драгоценные патрончики в карман куртки, Ленька прислонил «мелкашку» к стволу осины, с натугой поднял рюкзак. Егор помог ему просунуть левую руку под ремень, подал палатку. Правой рукой Ленька ухватил винтовку.

— Да, охотничек! — невесело пошутил Иван.— Слушай, давай еще отбавим груза?

— Нет, что ты! — испугался Ленька. — Теперь рюкзак полегче, не как в первый день. Ты ведь работаешь, а я что? Я кожу просто!

И шагнул вперед. Он не торопился, пытаясь уловить хоть какое-нибудь движение в лесу. Прислушиваться к шорохам было трудновато: кровь от натуги прилила к голове, стучала в висках, в ушах. Сколько ни всматривался он в зеленую чащобу елок, рыбчики больше не показывались. Добреля до белой с черными крапинами березы, заметил: впереди посветлело. «Опять болото!» — поморщился он. Просека упиралась в высокую без коры и сучьев сушину у ближайшего края просвета. Ноша больно натянула плечи, онемела от палатки левая рука, но он не стал снимать груз, пока не добрел до сушины.

Здесь, весь мокрый, с глазами, залитыми потом, он первым делом бросил палатку и винтовку, движением плеч отряхнул рюкзак, отер лицо краем накомарника и только потом огляделся. Впереди невысокой коряжистой стеной лежал бурелом.

Наваленные как попало друг на друга деревья переплелись здесь в хаотичную мешанину засохших ветвей, иструхших стволов, высоких, в два человеческих роста, сухих пней с острыми, как зубья, расщепами. И весь этот лом, эта древесная каша тянулась, пока хватал глаз. Просека здесь была чуть намечена.

Что-то холодное попало в глаз, а когда Ленька утерся концом накомарника, в глазу едко, будто от мыла, защипало. «Мошка! — сообразил он. — Ух ты, сколько ее, проклятой!»

Мошка налетала иногда в последние дни, но досаждала не больше чем комары, а к комарным укусам он уже притерпелся, даже накомарник на лицо не часто опускал. Сейчас мошка окутала плотным облаком. Почесываясь, Ленька торопливо опустил накомарник и стал похож на средневекового палача с мешком на голове, только вместо прорезей для глаз была небольшая прямоугольная сеточка, сплетенная из конского волоса. Не успел защитить лицо — нестерпимо зачесались голые руки, и пришло лезть в рюкзак, где до поры хранились брезентовые рукавицы — верхонки.

Увидев бурелом, Ивлев выругался, сплюнул и приказал отходить назад, обедать. Через час весь отряд снова был у высокой сушины.

— С лентой аккуратнее! — предупредил начальник Ивана. — В таких местах большие ошибки бывают при замерах. Мошка, зараза, даст прикурить. Да ништо, не впервой, верно, кремешок?

Ленька неуверенно качнул своим накомарником и шагнул следом за рабочими. Винтовку Иван Иванович забрал у него сразу, потом, когда Ленька несколько раз споткнулся и упал, Иван отобрал палатку. И все-таки он с каждой минутой отставал.

Перелезая через ощетиненные сучьями стволы, Ленька помогал себе руками, хватался за что попало, подтягивался, полз, мало-помалу двигался, но догнать отряд никак не удавалось. Он исходил потом, задыхаясь под накомарником, постанывал от зуда набившейся во все поры мошкеры. Тело нестерпимо чесалось: грудь, спина под рюкзаком, руки до самых плеч. Лицо горело. Стоило чуть-чуть отступиться, и грузный рюкзак осаживал, опрокидывал назад или сваливал набок. Часто сапог попадал в расселины между стволами и застревал так крепко, что Ленька выдергивал ногу из голенища, и поневоле приходилось переобуваться.

Все было обманчиво и ненадежно. Крепкий на вид ствол проседал под ногой, ломался в труху, и тогда Ленька нырял вперед, зажмурив глаза, выставив перед собой руки. Да, это не вырубка, которую отвели под сенокос брату Анатолию, хоть там тоже намучились вдоволь. Ленька невольно стал сравнивать ту вырубку с сегодняшним буреломом. Когда первый раз пришли ее чистить, тоже ахнули и мать и Анатолий. На будущем сенокосе, казалось, черт ногу сломит: пни рядом с высокорослыми, сухостоины колючие сучья во все стороны растопырили, на земле обломки деревянных, остатки кустов, валежника — все перемято и мелкой травой поросло.

Зато там хоть видно было, что рублено, что человек руки приложил. А тут — стихия наворотила, как после тунгусского метеорита.

Тяжело было на вырубке, а осилили, вычистили. Сперва Анатолий за большие деревины принял: сучки отрубать, вершины, а Ленька с матерью мелочь начали убирать, стаскивать в кучи обломки, полусгнившие ветки. Просто вроде бы, а вытащишь из травы пересохшую еловую лапу с редкими ржавыми иголками, потянем — она за другую зацеплена, та третью волокет. Пот глаза заливает, руки от укусов зудят, рубашка к телу липнет, сапоги свинцовые, и воды близко нет, кепку помочить, чтобы голову меньше припекало. Досталось в общем. Бились-бились, до обеда и трети вырубки не осилили.

Распаренный, злой сел тогда Анатолий к костру, закурил папиросу. Неподалеку еще три костра пылали почти без дыма, подсохшие сучья горели жарко. Поели черного липкого хлеба с прошлогодней вареной картошкой, запили молоком из буты-

лок. Ноги и плечи гудели, распаренные руки саднило. Сил вроде бы нет подняться, а надо. Встал Анатолий, припадая на раненную ногу, подошел к суковатой валежине, хрюстнул плотницким топором, и повалилась на землю плотная сухая щепа. Потом вместе с Ленькой стали перерубленные чурбаки в штабель стаскивать.

— Нынешнее лето в шалаше переживем, а по осени балаган срублю из бревен, чтобы комары не одолевали, — объяснил брат. — Вот и пригодятся бревнышки.

— Как думаешь, очистим? — с сомнением спросил Ленька, кивая на захламленную даль вырубки.

— Очистим! Глаза боятся, а руки делают. Два-три выходных еще, вот и очистим. Давай-ка вон ту дуру притащим. Притащили «дуру», отерли пот.

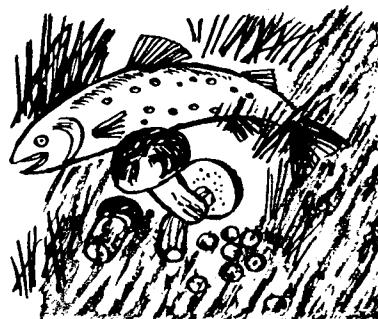
— Что, приморило? — усмехнулся Анатолий. — А в геологи собрался. Они ведь всю жизнь вот так, по чащобам да буреломам.

Тогда братники слова мимо ушей пропустил, а сегодня вот всплыли в памяти, когда бурелом последние силенки отнял.

Сердце у Леньки стучало лихорадочно, тревожно и часто, накомарник казался уже не ситцевым, а жестяным и больно царапал лицо. Раз он споткнулся так неловко, что чуть не выколол глаз: тонкий и острый, как шило, сучок прорвал накомарник, глубоко царапнул лоб, сбил кепку. Вспыхнув от злости, боли и усталости, он с трудом сел, опервшись тяжелым рюкзаком о валежину позади себя, сдвинул на затылок накомарник, размазывая кровь по лицу.

Перед глазами плыли розовые круги. Сквозь них постепенно прорезались сперва утомленное предзакатное небо, потом близние, а за ними и дальние сухостоины. Ленька с трудом отыскал черно-красную рейку, по которой Иван Иваныч делал отсчеты: она маячила далеко впереди. И вдруг Леньке стало все безразлично: пусть все уходят, пусть наступает ночь, он не тронется с места до конца, до смертного своего часа...

Он долго и равнодушно сидел между двумя ссохшимися стволами, маленький, нелепый, с опухшим лицом, с громадным мешком за плечами. Сидел, бессмысленно вперившись глазами в багровое солнце, одиноко висевшее над кладбищем леса, жертвой давнего жестокого ветролома. Мошака густо облепила лоб, щеки, подбородок, лезла в глаза и в нос. Острая саднящая боль наконец вернула его к действительности. Про-



ведя ладонями по лицу, Ленька снова опустил накомарник, поднялся на ноги и глухо простонал оттого, что ремни, словно гигантские зубы, впились в растертые плечи.

«А ведь брату, поди, не легче было, когда стог метал!» — пронеслось в голове.

В тот день он с братом сначала сено таскали на носилках к остоожью. На носилки умещал Анатолий большую копну — в свой рост. Старался, чтобы тяжесть на передний край носилок ложилась, который сам понесет. Леньке велел взяться за тонкие концы жердей, так что между ним и сеном на носилках метра полтора пустого пространства получилось.

— Чтобы под ноги глядеть, не запинаться, — пояснил брат.

Говорил бы прямо: чтобы тебе черезсур не надрываться. Взялись, потащили первые носилки по вырубке, по пням да по кочкам. Тяжело, конечно, но терпимо, только пить хочется и оводы — вот проклятые! — все руки облепили, будто знают, что не обороняться.

К вечеру натаскали сена на первый стог: пятнадцать копен вокруг остоожья, как танки в круговой обороне. Вовремя кончили: следующих носилок, чувствовал Ленька, ему не поднять, руки ныли, и пальцы не гнулись, как деревянные. Дышал он тяжело, со свистом.

— Иди, Ленька, ужин вари, — сказал брат, тоже устало прислоняясь к копне. — Мы стог метать станем.

Сбродил Ленька на родник по воду, костер запалил, картошки намыл, а сам все поглядывает, как растет первый стог на вырубке. Анатолий вилами охапку подденет, наверх подает. Мать на стогу пластами сено укладывает, это она умеет, не зря столько лет на сенопункте оттрубила. Дело вроде подается, только со стороны не видно, каких трудов стоит. Ленька-то знает, что брат на одной злости держится, да и мать последние жилы вытягивает, за пятьдесят ей, а всю жизнь настоящей кормежки не видела, зато работы было навалом. Постарела она здорово, а когда, как? — проморгал Ленька. Не похоронка ли отцовская подкосила? От Анатолия в войну тоже редко письма получали. И по сей день мать недоедает, недосыпает, а хлопот меньше не стало, прибавилось хлопот, когда Колька родился да корову купили. Так какое право он, Ленька, имеет нюни распускать? Ишь, герой, помирать собрался!

Ленька качнулся, шагнул и стал перелезать через следующую валежину, стараясь не терять из виду тонкую в красных полосах рейку, которая блекло отсвечивала в косых лучах солнца. «Отстану — пропаду! Отстану — пропаду!» — твердил он себе в полу забытьи. И внезапно подумал, что пропасть ему все равно не дадут, что Ивлев с Иваном вернутся, снимут с него надоевший рюкзак, подадут, как маленькому, руку, проводят к костру, к палатке. И оттого, что мысль была маленькая, бесформенная какая-то, предательская,

не мысль и не мыслишка даже, а темное, мутное желание, Ленька разозлился еще больше.

«Кисляк!» — ругнулся он, мстя себе за минутное малодушие. — «Иван, что ли, не буреломиной пробивается? А Настасья? Или груз у них меньше? Да еще и работают! Ох ты, хлюпик ты слюнявый! Маменькин ты сынок! Сидел бы дома тогда, паразит! В няньках! Вернется вот Ивлев и скажет: хорош кремешок! Не кремешок, а глины мешок!»

Так, браня себя, он упорно, будто пришибленный жук, снова и снова перелезал то твердые, то трухлявые валежины, унизанные сучьями, кое-где обломанными идущими впереди.

«Вот каково-то тропу ломать!» — подумалось Леньке с каким-то особенным, новым уважением к топографам, и неожиданно он уверился, что осилит дорогу, до утра будет карабкаться, но осилит.

Он не заметил, сколько прошло времени перед тем, как рядом оказался Иван, тот вырос словно из-под земли.

— Ползешь, Лешка? — спросил он устало. — Дай-ка рюкзак!

Не хватило сил отказаться.

— Держись, лагерь близко. Мужики палатки разбивают, суп варится.

Он говорил еще что-то, но Ленька не вслушивался и не понимал, бредя в полусне след в след за Иваном, бессознательно повторяя все его движения. Потом он смутно вспоминал, как доплелся до костра, как без сил рухнул на землю, как ругался Иван Иванович, заставляя его проглотить хоть несколько ложек супа. Странно, но суп и крепкий чай взбодрили его настолько, что, забравшись в палатку и блаженно растянувшись на своем месте у стенки, он не смог уснуть сразу. А потом, когда у костра вспыхнула ссора, стало и вовсе не до сна.

Сперва слышался только голос Настасьи:

— Ты як дитына, начальник! Бо ума в тоби трохи боле, чем у Лешки. Ну оставил бы ты его у лагери, не треба було тащить таке мале у поле! Ты бачь, що з него зробилось! У гроб краще кладуть...

— Дневку придется сделать, — виновато ответил Иван Иванович. — Поотлежится, ничего, лишь бы аппетит появился. Через два дня выйдем к верховьям Вычегды, там и переднем. Завтра полегче будет, самый тяжелый участок позади. А парень — что надо! Хоть бы пикнул, пожаловался, а? Одно слово — кремешок!

— Точно! — поддержал Ивлева Иван. — Сейчас шли — ног не поднимает, еле пыхтит. Спрашиваю, как самочувствие, Лешка? Нормально, говорит.

У костра замолчали. Ленька, довольно улыбаясь, начал было задремывать, когда донесся истощенный крик Хипиша:

— Гад! По палатке размажу! Фраер!

Послышалась возня. Ленька испуганно приподнялся на локте, сон как рукой сняло.

— По мокрому делу меня, да?! По мокрому, гады?! — визжал Хипиш, пересыпая каждое слово бранью. — Это ты его подучил! Нарочно патрон не вытащили! Винтовочку мне подсунули: поиграйся! Я в Егора целился! А кабы нажал? Опять Хипиша в лагерь, суки! Опять червонец мотать? Убью-ю!

Ленька похолодел. Только теперь дошло до него, что днем у бурелома он забыл разрядить винтовку. Значит, пулька оставалась в стволе до вечера, и обнаружил ее Хипиш случайно, только сейчас. Ленька зажмурился от страха.

— Пальцем не тронешь! — с угрозой сказал Иван. — Младенец нашелся: не сообразить затвор открыть, проверить, заряжено ли. Ты забыл, как в ноги мне падал? Запомни: до первого раза! А то... И червонец за счастье считать станешь. Парма укроет! Зарубил?

Хипиш молчал, зато прозвучал осуждающий голос Егора:

— Ты, Ваня, тоже лишку на себя не принимай. Виноват малец, внушить следовает, помнил чтобы... Не шутки, человека из-за него порешить могли. И я ведь ее в руках держал-вертел.

— Та вы що, сказились? — возмущенно взвилась Настасья. — Чи не вы сами ружо заряжено хлопчику пидсунулы? Та ще вин и виноватый! Чого мовчишь, начальник?!

— Винтовку зря дали, это верно. А и сами могли проверить, заряжено ли? Могли. Игрушка вам винтовка, чтобы в руках вертеть да в людей прицеливаться? Не игрушка! И вот мой приказ: без разрешения винтовку не трогать никому ни днем, ни ночью. А Лешка... Поругать, может, и следует, а ударить чтобы и не думали! Чуешь, Петро? Со мной дело будешь иметь, верь слову!

Чувствуя, что весь покрыт холодным потом от стыда и отчаяния, Ленька все же подивился той власти, которую имел в отряде Иван Иванович. Не первый раз примечал: стоит ему слово сказать, и все слушаются. И ведь не оттого, что боятся, вон как сегодня Настасья Ивлева отчитала! Нет, тут другое... Хипиш Ивана боится — сразу заметно, хотя тоже непонятно почему. Иван, похоже, в отряде никому не поддается, а Ивлева с полуслова понимает. Или, как говорил Иван, у них в парме свои законы?

За винтовку завтра прощения придется просить у всех, у всего отряда, да ладно, хоть так обошлось, а нажми Хипиш на спуск — страшно подумать...

Тоскливо, неуютно сделалось Леньке. Примерно так же бывало в классе: вышибешь на переменке стекло нечаянно и маешься, ждешь, когда тебя к директору вызовут.

Разволновавшись, Ленька вдруг отчетливо услышал близ-

кую музыку. Играли оркестр, пела певица, та самая, что в Ухтинском парке, когда крутился он на холодной полке брошенного ларька:

Днем и ночью,
Милый, помни обо мне
Днем и ночью!
Я за то тебе пою,
Чтобы ты любовь мою
Охранял в чужом краю
Днем и ночью!

Нет, неладное что-то творится с ним. Все в кучу смешалось: и усталость, и боль, и страх, и ухтинская песня, словно в калейдоскопе все вертится или на карусели — быстрий и быстрей. Ленька снова облился потом, затем, весь мокрый, задрожал от озноба и вдруг ощутил зверский голод. И вот уже не в палатке вроде бы он, и не вечер сейчас, а ясный голубой полдень, и шагают они с Катей из школы берегом реки.

— Ох как есть хочется! — жалуется Ленька.

— Давай слопаем хлеб. Я в школу брала, немного осталось.

Катя расстегивает портфель и, достав оттуда общипанный кусочек черствого, с травой, хлеба, протягивает Леньке. Он краснеет:

— Нет, давай вместе.

— Вместе так вместе... — Катя аккуратно ломает кусочек пополам. — Я вот недавно пришла из школы, а мама подает мне картошку вареную да такой вот кусочек хлеба. Я и говорю: «Мам, вот бы дожить, что приду с уроков, а ты мне дашь большущую кружку молока и целый кусище хлеба! Вот бы здорово!» Смотрю, а она плачет...

Ленька, дожевывая горький кусок, поворачивает с дороги на берег. Сосны здесь гибкие корни под обрыв свесили. Ленька прыгает в мягкий, нагретый солнцем песок и проваливается в него с головой, как в воду. Он сilitся крикнуть, позвать Катю на помощь, но песок сыплется в рот, в глаза, обжигающий, горячий и невесомый. Яркий день переменчиво тает, и вот уже ливень хлещет по темной воде реки, смывая с Леньки песок, ледяной осенний ливень. Холод трясет Леньку, будто осиновый лист, а Катя куда-то исчезла...

— Катя! — кричит Ленька отчаянно. — Катя, вернись!!

— Знаешь, чего мне больше всего хочется, — спокойно говорит Катя, беря его за руку. — Пряников. Таких, как до войны: толстые, круглые и блестят сверху, как лаковые...

— Да ну тебя! — Ленька судорожно глотает слюну и вдруг видит Хипиша: тот хватает из большого ящика пряники и сразу по нескольку штук затачивает себе в рот, отчего шрам его набухает, краснеет, переламывается пополам, а Хипиш все жрет, жрет, жрет...

Опять все исчезло, и уже не река перед ними, а ручей, мутный, раздувшийся...

— Как через ручей-то переползем? — спрашивает он Катю. — Виши, разлился...

— Прыгай! — говорит Катя.

Ленька разбегается и долго парит над ручьем, удивляясь, что научился летать. Он знает, что, если захочет, может подняться высоко-высоко, прямо к облакам.

— Катя! Лети сюда! — зовет Ленька, но Катя стоит далеко внизу, помахивает портфелем и поет голосом ухтинской певицы:

Днем и ночью,
Милый, помни обо мне
Днем и ночью!

— Я помню о тебе, Катя! — кричит Ленька, падая со страшной высоты. Все закрутилось, спуталось, исчезло. Уснул он так крепко, что не слышал, как укладывались рядом топографы.

Утром Ленька выбрался к костру, шатаясь от слабости, но ел с большим аппетитом. С тревогой ждал, когда заговорят о его вчерашней оплошке. Насупленный Хипиш раза два бросил на него угрожающий взгляд. Ободряюще подмигнул Иван. Остальные как ни в чем не бывало готовились в путь.

— Ноги не сбил, кремешок? — спросил Ивлев. — Не сбил. Ну и добро. Сегодня полегче будет, как-никак продуктов побудилось. А к концу маршрута с пустым рюкзаком и совсем весело бежать, верь слову!

Ленька подошел к палатке, взял свой рюкзак и удивился: он был совсем легким. С недовольным видом Ленька повернулся к Ивлеву, но тот не дал и рта раскрыть, оборвал:

— Ничего-ничего! Так надо!

— Иван Иваныч! — покраснев, с натугой сказал Ленька. — Я слышал вчера... Из-за винтовки. Вы простите. Да я ее больше в руки не возьму! У меня еще в кармане патроны остались — вот.

Ивлев взял патроны, достал коробочку и ссыпал их туда, потом хлопнул Леньку по плечу:

— Слышал, значит, теперь ты ученый. А насчет «в руки не возьму» — брось. Геологу да топографу без винтовки — что? Хана ему без винтовки. Ни от зверя обороны, ни мяса на жаркое... Стрелять учись, только поаккуратнее будь.

— Оружье — не игрушка! — прибавил Егор.

Ленька снова поймал косой, ненавидящий взгляд Хипиша. Нет, не помогут извинения. Мстить будет, если не при всех, так исподтишка. И не за пульку мстить будет, а за то, что невзлюбил он Леньку с самой первой встречи, отпора его невзлюбил, самостоятельности. Ленька неосознанно подвинулся ближе к Ивану Иванычу, который, отхлебнув чаю, поста-

вил кружку на траву и взялся за свой полевой журнал.

— Есть вопросы, кремешок? — спросил он, заметив движение ученика.

— Я, Иван Иваныч, вчера вечером музыку слышал. А радио нигде близко нет, как это?

— Хм... Музыку, стало быть. Интересно. У меня тоже такое бывало с устатку, а объяснить не могу. Неизученное, стало быть, явление. Вырастешь, выучишься, тогда и мне расскажешь, что к чему. А пока — в памяти держи, из сердца выбрось.

Он положил книжку в карман, допил чай и поднялся.

— Готовы, что ли, мужички?

7

Минуло еще два дня пути. Ленька вроде бы стал втягиваться в кочевую жизнь, не уставал больше той смертельной усталостью, как при переходе через бурелом. И аппетит у него появился отменный, и маршруты в последние дни показались короче, особенно с легким рюкзаком. Вечером второго дня, помогая ставить палатку в лесу, он догадался, что маршруты и в самом деле укоротились. Ведь своими ушами слышал, как говорил Ивлев, что осталось два дня до верховьев Вычегды. Завтра третий, а реки не видать. Догадался и о том, что сократил начальник дневные переходы из-за него. Получается, что он, Ленька, для топографов — обуза. Вроде ноги им спутал.

И что за невезуха такая! Дома брату обузой был, в Ухте на шею землякам сел, а теперь вот целому отряду мешает! И назавтра Ленька изо всех сил старался помочь: то уходил по просеке далеко вперед, кипятил чай где-нибудь у лесного ручья или родника, то, кинув рюкзак у кострища, бежал назад, чтобы быть на подхвате: рейку ли поддержать, поставив на заровненный с землей колышек, рюкзак ли у кого-нибудь поднести.

Не раз и не два позволял ему Иван Иванович заглянуть в глазок нивелира, попутно объясняя, как берутся отсчеты высоты с разных точек. А стыд не исчезал: разве все это работа? Наконец, измучившись подозрениями, Ленька решился поговорить с Ивлевым начистоту. Он долго выбирал подходящую минуту и вроде бы дождался.

Топографы как раз выбрались к широкой сухой котловине, густо заросшей кустарником. С трех сторон ее окружали холмы, лесистые и крутые. Небо хмурилось, и даже оранжевые кроны осин казались по-осеннему печальными.

На краю котловины все сгрудились около Ивана Иваныча, потом двинулись дальше. Ленька заметил, что начальник стоит возле нивелира и, опустив плечи, рассеянно глядит вниз,

на рассыпчатый мелкий осинник. Только-только хотел он поделиться с Ивлевым своими сомнениями, как тот поманил его поближе и вполголоса сказал:

— Запомни это место, кремешок. Мало ли, придется еще бывать, так чтобы знал. Тут мы сейчас по костям пойдем.

— По костям? — Ленька невольно вздрогнул, так необычен был тон Ивана Ивановича и весь его отрешенный вид, и не решился говорить о своих сомнениях.

«Не в духе Иваныч», — уважительно и с каким-то трепетом даже подумал Ленька, спускаясь в котловину по узкой визирной просеке. Впереди с рейкой маячил Хипиш, и Ленька свернул в низколесье — не хотелось лишний раз встречаться. Под ногами пружинил мох, часто попадались грибы, то ядреные подосиновики, то гладкие, с чернинкой на шляпке, подберезовики. И хотя рюкзак оттягивал плечи, Ленька вдруг решил: «Наберу-ка я грибов на варево! Может, обрадуется Иваныч, давно ведь не пробовал!» Он отстегнул от рюкзака прокопченный котелок и стал складывать в него грибы, отламывая шляпки от корней, чтобы уложить их поплотнее.

У края котловина переходила в болото, но совсем незаметно, лишь шире, просторнее стали полянки, гуще и выше мох, да кой-где тянулись вверх рослые пучки бледно-зеленої травы. У края одной из таких полянок Ленька неожиданно увидел черемуху, обсыпанную ягодами, будто выдернули ее из земли, обмакнули в густую смолу, а потом поставили обратно. И так захотелось спелых ягод — зубы заныли.

Зыркнув глазами в сторону просеки, Ленька, увязая чуть не по колено в податливом мху, подобрался вплотную к черемухе, скинул рюкзак, куртку, а заодно и кепку с накомарником. На дерево забраться — дело минутное. И вот они, желанные, хоть целыми горстями в рот отправляй. Поначалу Ленька даже жмурился от удовольствия и глотал ягоды прямо с косточками, потом стал разборчивее, начал выбирать самые спелые. И когда дошло до него, что не грех бы и Настасье полакомиться редко встречавшейся в здешних местах ягодой, когда примерился он выбрать ветки побольше да погуще, оказалось, что не так-то просто до них дотянуться. Пять или шесть приличных веточек сбросил на землю, к рюкзаку, а там надо ползти подальше от ствола. Особенно одна ветка манила, далеко высунулась она над моховой полянкой.

Пополз Ленька, а ветка качается, пружинит, вот-вот обломится. «Да и пусть обломится, — мелькнуло в голове. — На мох ведь свалюсь, там мягко!» И не опасаясь больше, смело пополз к самому краю.

Все остальное случилось в какую-нибудь секунду: ветка хрустнула, обломилась — и Ленька со всего маху приземлился в болото, сперва ничего не понял, а потом волосы поднялись дыбом: он провалился почти по пояс.

«Трясина!!» — в ужасе подумал он и рванулся к стволу черемухи, пытаясь опереться на обломленную оставшуюся в руках ветку. Она тотчас хрустнула под руками и переломилась еще в двух местах.

— А-а-а! — что есть силы завопил Ленька, чувствуя, как сапоги заполняются холодной водой и вроде бы сами собой ташат его вниз, в бездонную ледяную пропасть.

— Эгей! — раздался ответный отклик с просеки.

— На помошь! Спасите! Дядя Ваня! — орал Ленька, не помня себя от страха.

— Держись! — услышал он ответный тревожный возглас.

Вдали захлюпала вода под быстрыми шагами. Помощь была близка, но и Леньку засосало уже по грудь.

— Дядя Ваня! — отчаянно простонал он. — Скорее!!!

— Не шевелись! Ни одного движения не делай! — совсем рядом раздался успокаивающий голос, и Ленька замер. Сердце его колотилось отчаянно, трепыхалось, как воробей в силке. Раскинув руки, он судорожно вцепился пальцами в мох. Казалось, еще минута, и трясина проглотит, засосет, возьмет к себе. «Вот почему по костям пойдем!» — некстати вспомнил он слова Ивана Иваныча и снова закричал голосом раненой птицы.

Из-за ближних деревьев, возле самой черемухи вывернулась жилистая фигура Ивана Ивановича с полосатой рейкой в руках. Он быстро и ловко подвинул рейку к тонущему Леньке, и тот так вцепился в спасительный конец, что никакая сила, наверно, не смогла бы разжать его пальцы. Рейка поползла к Ивану Ивановичу, и Ленька ощущил, как медленно, будто бы из пасти крокодила, вылезает его тело из болота.

На сухом месте, присев на рюкзак, Ленька неожиданно разревелся в голос.

— Порыдай, порыдай! — язвительно приговаривал между тем Иван Иванович. — Я тебе сколько раз говорил: не лезь куда не положено! Говорил я тебе? Говорил я тебе? Говорил! А ты все свое, кадра несчастная! Зря я, дурак старый, бежал-то, верь слову, зря! Пусть бы тонула дурья твоя башка! Зачем, спрашивается, в трясину полез? А ни за чем!

— Я-го-од хо-отел... — всхлипывая сказал Ленька.

— Ягодок захотел! Каши бы тебе березовой отпустить две порции за эти ягодки! Ну, вставай! Слезы лить некогда, работать надо. И с просеки ни шагу! Усек?

— Усек... — шмыгнув носом, прошептал Ленька, натягивая куртку.

Он плелся за начальником, снова и снова переживая только что испытанный первобытный ужас. И ругань Ивана Ивановича за ласку показалась сперва, но, немного погодя, Ленька обиделся. Что он, виноват, что ли? Доброе дело хотел сделать, да раз так вышло! И отчего иногда так получается,

что и одни вроде бы не виноваты, и другие опять же правы? Не с одним ведь Ленькой такое случалось, со взрослыми вон тоже сплошь да рядом, и не поймешь сразу-то, что к чему.

Не первый раз задумывался над этим Ленька. Еще там, в поселке, не мог он, к примеру, понять, почему бывает, что добро гибнет, а спасти его нельзя, закон не велит. Как-то по весне, по крепкому насту собрались они с ребятами в лес. Санки прихватили, чтобы не просто валенки по насту рвать, а хоть сушняку домой на истопель привезти. В лесу — красота, шагай хоть на край света по белому, как сахар, мерзлому снегу. Набегались, наигрались, сушняку наломали, увязали на санках, только бы домой подаваться — лесник, откуда ни возьмись.

— Чьи такие? Говорите, все равно узнаю, да еще санки отберу! Я вам покажу, как государственный лес воровать!

Пришлось сказать фамилии. Привез Ленька санки домой, так у крыльца до вечера иостояли, пока лесник не пришел акт составлять. Штраф вынь да положь, а какая польза лесу от того, что трое санок сушняку в нем гнить бы остались? Вред один. Нет, все равно нельзя.

Или вот дальние сенокосы. Каждый год траву снегом заносит, не выкашивают ее, некому, а попробуй с косой из поселка сунуться, мигом дознаются, хорошо, коли до суда не додедут, а уж сено обязательно конфискуют. И пластаются леспромхозовские мужики на дальних вырубках, обкашивают пни, хотя рядом с поселком некошеная трава пропадает. Так кому польза от этого? Или чего-то он недопонимает?

...Да, не простая штука жизнь, ежели задумываться...

К вечеру показался берег Вычегды. Если бы заранее Леньке не сказали, что за река, сроду бы не догадался. Хоть и широкая, да не шире Ухты, а по глубине и сравнивать нечего: вся в камнях да бурунах и вроде бы не глубже ручья, только течение сильное, как у горной речки. Верховья так верховья и есть. Кубина около их поселка тоже на реку похожа, а вверху, там, где тропинка на сенокос поворачивает, в сапогах перебредешь. И хотя не удивила его большая река, но, покуда помогал ставить палатки да ладить костер на обрыве, то и дело поглядывал на быстрый поток. Хотелось сорваться вниз, поплескаться, камни на берегу пощуровать. Не шутка все-таки: до самой Северной Двины несетя эта речка, а там и дом почти рядом. Представишь, дух захватывает. Он так часто застревал у обрыва, что Иван поддел:

— Ты, Лешка, слушаем, не рыбак?

— Еще какой! — у Леньки заблестели глаза. — Только река у нас тихая, не как здесь. Тут, поди, и клевка не заметишь, вишь, как волокет!

— Ивлев дневку нам завтра обещает. Махнем за хариусами?

— А удочки?

— Крючки, леска у меня с собой, а удилища вырезать — дело минутное.

— Ой, Иван! Правда?

— А когда я тебе врал?

— Хариусы! — Ленька чуть не подпрыгнул.

— Айда мыться!

Они скатились к воде, которая уже окутывалась вечерним туманом. Говорливые струи казались в сумраке еще таинственнее. Разделись по пояс, плескали на разгоряченные тела холодную воду, пока Настасья не пригрозила, что оставит «без вечери».

У костра царило оживление: весть об отдыхе настроила всех на веселый лад. Ленька боялся, что Ивлев заведет речь о его оплошке, но тот держался как обычно.

— Ай да Настасья! Ай да мастерица! — прихваливал он каждую ложку.

— А что? — довольно улыбнулся Егор. — Моя Настюха столовке не поддастся!

Настасья молчала, но даже в отблесках костра было заметно, как порозовели ее щеки.

— Куда там столовке! — подлил масла Иван. — Поднимай выше — ресторан!

— Эх, ресторан! — мечтательно потянулся Хипиш, к тому времени опорожнивший и миску каши. — Что вы смыслите в ресторанах, пижоны! Вот, помню, в столице нашей Родины перед войной заваливаемся втроем в «Метрополь». Костюмчики, само собой, шик. На шее — бабочка. Мигнешь — Гриша! И моментально — столик у оркестра. А на столике... м-м-м! Графинчики морозные! Рыбка заливная! Люля-кебаб! Гришке сотнягу в зубы, гуляй — не хочу!

— А сотняга-то откуда? — вроде бы без интереса спросил Ивлев. — От сырости, что ль?

— Начальник! Да у меня их столько водилось! Как дерьяма! Направо-налево швыряял, не считая! Погуляешь месячишко — ша! Ищешь дело. Раз, помню, на магазинчик нас навели. С виду — тьфу! Глядеть не на что. А изнутри — мать честная! Меха. Соболь! Выдра! Норка! Один на стреме, сторожу по затылку, в рот кляп, сиди, не кашляй. Фомку в замки, и вот они, родимые! Три мешка под завязку. Потом через братву спустили — три мешка червонцев. Гуляй — не хочу!

Рассказывая, Хипиш приходил все в большее возбуждение. Он стоял теперь на коленях, широко размахивая руками, и громадная, черная его тень, переламываясь, металась по слабо освещенной костром ели.

— За меха и взяли тебя? — поинтересовался Егор.

— Нет, там чисто! У вора ведь как? Миллионное дело выгорит, а на рублевом влипнешь. К профессору одному на дачу наведались, а милиция тут как тут. С поличным засту-

кали. Старое кое-что откопали, и загремел я под Воркуту. Случай!

— Сколько веревочке ни виться, конец будет, верь слову! — спокойно сказал Ивлев. — Месяц погулял, семь лет отрубил на казенной похлебке. Жизнь!

— У вас, что ли, жизнь? — возразил Хипиш. — С елками в обнимку, нашли жизнь!

— Вот ты, Петро, mine кажи! — неожиданно вмешалась Настасья. — Ось тех людын, що грабив да обкрадав, жалев чи ни?

— Пусть их Пушкин жалеет! Александр Сергеевич! По-моему, так: рот не разевай, а разинул — не жалуйся. Всяк за себя отвечает.

— За себя, стало быть, — опять заговорил Ивлев. — К примеру, ты в трясину забредешь. А я — рядом. И руки не простишь, отвечай, мол, сам за себя, за свою глупость. А ведь вы, ворье, хуже делаете: не только что не поможете, сами с тропы в трясину толкнете. Что, не так? А, кремешок?

Леньке давно хотелось заговорить, и вопрос Ивана Ивановича подтолкнул его:

— Конечно, так! Я вот в техникум ехал. Денег ни гроша в доме. Брат трижды раненный с войны пришел, да женился, да корову купил — весь в долгах, по уши. Все лето я вкалывал, да мать заняла у соседей, триста рублей наскребли. А в Коноше сел к нам в купе ворюга. Ночью перед Котласом в чемодан залез и спер мои триста рублей, без копейки оставил. Спасибо, со своими ребятами ехал, выручили. Долго потом думал: взял бы тот вор мои деньги, кабы знал, как они нам достались?

— Вопросик! Отвечай, Хипиш, ты ведь спец по таким делам.

— Вор последнее не возьмет, — враз поугрюмев, выдал Петр. — Вор сам последнее отдаст, коли надо!

— Да вот взял же! — наступал Ивлев. — И не спросил, последнее или нет. Хоть и спрашивать нечего, и так видно, что последнее.

— Фраер какой-нибудь! Попадись он мне, я бы повернулся хлебало на затылок!

— Брось, не ерепенься! — оборвал Иван. — Может, про базу вспомнишь?

— А! — отмахнулся Хипиш и, не говоря ни слова, полез в палатку.

Все рассмеялись, но смех получился невеселым, жидким, будто они разом дотронулись до чего-то липкого и вонючего, а теперь смущенно смеются над своей неловкостью. Разговор не клеился. Сперва широко зевнул Егор:

— Разморило после Настасьина угощенья, пойти полежать...

Настасья собрала посуду и послала Леньку к реке вымыть. Когда он, бренча котелками и мисками, снова поднялся на

обрыв, у костра оставались Иван и начальник. Ивлев, подбросив в костер сушняку, что-то деловито подсчитывал в полевом журнале, а Иван лежал на боку, подперев голову рукой и пристально уставясь в огонь.

— Ваня? — тихо спросил Ленька, примостясь рядом. — Почему у Петра фамилия такая — Хипиш?

— Да это прозвище! — рассмеялся Иван. — А фамилия у него самая обыкновенная — Кудряшов. Ворье все под кличками живет, а Хипиш — мелкий воришко, карманник, вот ему и любо, что его Хипищем зовут.

— Карманник? — не поверил Ленька. — А рассказывал...

— Верь ему! Он тебе с три короба наврет, все истории лагерные за свои выдаст.

— Вань, а почему он тебя боится?

— Дело прошлое. На базе нашей, я тебе говорил, разный народ живет. И воры есть, но у своих не берут, насчет этого строго. Хипиш там на воровстве и попался, макароны у одного парня уволок. Отнял я его у мужиков, не дал насмерть забить. А заодно и Хипишу пообещал, чуть чего, голову отвернуть. Вот и боится...

Ленька, широко раскрыв глаза, смотрел на Ивана, словно увидел его впервые. Не замечал он раньше такой жесткой, беспощадной складки на обычно добром лице, не замечал и суровой угрюмины в глазах.

— И ты... мог бы? — заикаясь, спросил он.

— За дело — мог бы.

— Эй, Ванюха! — предостерегающе сказал Ивлев. — Опять за старое?

— Тоска меня долбит, Иваныч! То работаю до красных кругов, а то такая тоска прихватит — мочи нет. Или верно — не так живу? Может, в большой город податься? В Сыктывкар... А то — на шахту в Воркуту. Силы во мне много, Иваныч, а куда деться, не знаю...

— Учиться иди. Женись, семью заводи. Только скажу я тебе, Иван, и семья не спасет, коли душа пустая, коли дела ей нет, душе-то. Работу тебе обнаружить надо. Смысл в ней открыть. А как откроешь, никакой силы не хватит, вся она уйдет в дело, да еще и мало покажется. И жалеть не станешь, что уходит сила в работу, потому как это и есть удовольствие в жизни самое главное. Не могу я тебе складно про все сказать, но ты поверь! По себе знаю.

— Я тебе верю, Иваныч. Не ходил бы с тобой который год, кабы не верил. Ежели, и верно, в техникум попробовать? Я ведь тебе, Иваныч, иной раз завидую: ты весь в работе. А я так не могу. Лента да рейка, топор да палатка... Мало мне!

— И готовься в техникум! — с жаром произнес Ивлев. — Готовься! С Лешкой вместе поступите осенью. Мне, Ваня, силы твоей жаль. Большая у тебя сила в характере, обидно, коли

впустую пропадет. Сам знаешь, от добра душа цветет, а гниет от зла, верь слову!

Ленька с удивлением прислушивался к разговору, не совсем понятному, но, видно, одинаково важному и для Ивана, и для начальника. Было ему и хорошо, и тревожно. И так хотелось, чтобы согласился Иван с Ивлевым, поверил ему!

А Иван лишь загадочно улыбался, взглядом вперившись в догоравший костер.

8

Над Вычегдой плыли белые облака. Небо в просветах синело еще по-летнему, листва на березах пока зеленела, но воздух по утрам стал прохладно-колюч, прозрачен до хрупкости.

Топографы от рыбалки отказались. Что ж, чем меньше людей на реке, тем лучше. Пока Иван ладил снасти, Ленька бродил в прибрежных зарослях, выбирая удилища, а выбрать их не просто, чтобы и длиной метра четыре, и у комля не толще большого пальца, да прямые и не хрупкие. Он срезал в чаще две подходящие березки, очистил от сучков, приволок к костру. Иван с сомнением оглядел их, взял в руку, встрижнул.

— Кору сними, легче будут, — посоветовал он.

— Настасья, — озабоченно сказал Ивлев, не отрываясь от журнала, — в чем рыбу солить станем?

— Ось и я, Иван Иванович, смекаю: неначе зимовати останемся, — рассмеялась Настасья.

— Смеется тот, кто смеется последним! — грозно отрубил Ленька.

Долго искали червей в низинах под валежинами, а когда выбрались к реке, Ленька стал выглядывать тихую заводь. Иван, наоборот, выбрал открытый плес, где каменистый мысок врезался в воду, а тугая, словно крученое стекло, струя огибала его, стал разматывать удочку.

— Бесполезно! — вполголоса предупредил Ленька. — Вишь, как тащит!

— Авось!

Иван забросил снасть и вскоре резко подсек, удилище выгнулось, и на камни, подпрыгивая и сверкая, шлепнулась увесистая рыбина. Ленька подхватил ее, снял с крючка и долго разглядывал серебристого, с синеватым отливом хариуса. В Кубине таких не водилось, но ельцы, которых он лавливал на быстрине, чем-то напоминали эту сильную рыбу. Не успел вдоволь налюбоваться, как Иван подцепил еще одного, побольше.

Рыбацкий азарт одолел Леньку. Торопливо размотав удочку, он насадил червя и быстро зашагал вверх по течению, отыскивая похожее место, пока не облюбовал быструю струю у копыристого куста. Течение сразу подхватило леску, натянуло

струной, поплавок то забивало под воду, топило, то выносило наверх, и он никак не мог догадаться, клюет или нет. Совсем не то что у них на Кубине.

На Кубине каждую весну местные мужики ладят запань, а проще сказать, сбивают впритык друг к дружке длинные плоты и перегораживают ими реку. На берега от связки тянут стальные плетенные тросы толщиной в руку, крепят их к столбам, врытым в землю. Тросы и держат запань на месте в любую воду, а удержать не просто: остаток не пропущенного вниз леса сгруживается перед запанью, и течение давит, прижимает, сбивает лес в залом так, что запань выгибаются дугой. Все лето потом вытаскивают сырье бревна из реки специально сделанной бревнотаской, укладывают в пахнущие тиной штабели и зимой по узкоколейке возят на лесозавод, где из бревен пилят тес и клепку для бочек.

Ребятишки в поселке каждую весну ждут не дождутся запани. Сгрудится лес возле нее — можно вдоволь бегать по залому, где бревна опасно ныряют под ногой, но ведь и самый смак в том, что опасно. А главное, в заломе всегда остаются оконца чистой воды, и если там не бурлит сильная струя, смело закидывай удочку. Да не просто закидывай, а прижмись к оконцу лицом, полюбопытствуй, что деется в прозрачной глубине у дна, среди затонувших колодин. Лениво бродят там красноперые окуни да пучеглазые ерши.

После пятого класса Ленька целое лето сражался на заломе с одним окунем, старым и хитрым. Был он горбатый, толстый, на горбе перед щетинистым гребнем белел рваный шрам — видно, щука когда-то хватала, да не по зубам пришлась добыча. Обитал стариц-окунь у большого осинового тополя, а сверху в светлое водяное оконце между бревнами видно, как он там живет. Опустишь леску с червяком на желтый песочек возле осины и воткнешься носом прямо в теплую воду... Окунь, понятно, не догадывается, что за ним подглядывают, не спеша, солидно выплывает к червяку, обойдет кругом и, небрежно вильнув хвостом, снова скроется под бревном. А то еще чище: поднимется вверх, в полводы, и вроде бы прямо в глаза тебе посмотрит, может, соображает все-таки? Только что не говорит: поймать, мол, хочешь? — на-ка, выкуси!

Однажды чуть не обманул его Ленька, когда вконец отчаялся и на удачу не рассчитывал, опустил наживку на дно, авось другой окунишка, что поглупее, соблазнится. Улов в тот день позарез требовался, дома крошки сухой не оставалось. А этот горбатый барин взмахнул хвостом, опустился, взял червяка и подался в укрытие. Дернул Ленька, зацепил хитреца, выволок на бревна, тем все и кончилось: сорвался окунь с самодельного крючка, булькнул назад в оконце, прощай, брат! Чуть не заревел тогда с досады — такая уха убежала!

Замечтался Ленька, не заметил, когда червя объели насильно. Прозевал бы и вторую поклевку, но рыба засеклась сама, рванула так, что вздогнуло удилище. Выдернул первого харуса, потом еще двух, поменьше. И клев будто обрезало, надо место менять.

Он стал снова проридаться сквозь заросли. Солнце успело растопить утреннюю льдистость воздуха,пряно запахло кипреем, грибной прелью, хвоей. Оберегая леску, чтобы не порвать о сучья, Ленька по-медвежьи ворочался в кустах. Налетели комары, пришлось отбиваться руками, накомарник остался в лагере.

Леска все же зацепилась за раскидистую ветку ольхи. Он принял распутывать и так увлекся, что вздрогул, услышав с реки громкое ругательство. Вскинул глаза и оторопел: с проплывавшей мимо лодки целился в него из двустволки какой-то человек. Мгновенный озноб пригвоздил Леньку к месту, но человек уже опустил ружье и снова выругался:

— Чего шляешься? Чуть под пулю не угодил! Думал — медведь, откуда тут людям взяться? Чей ты?

— Из экспедиции! — ответил Ленька, приходя в себя.

— Счастлив твой бог, парень! Еще бы маленько...

Человек смахнул со лба бисеринки пота, схватился за весла. Через минуту кусты скрыли лодку, будто ее и не бывало. Только сейчас Ленька по-настоящему перепугался. Выстрели проезжий секундой раньше, и лежать бы Кремешку вечно на берегу холодной Вычегды, за сотни верст от родимого дома...

Он вспомнил, как последний раз купались с Катей на большом омуте. Когда-то, вроде еще до революции, стояла там мельница. Остался от нее только каменистый перекат да широкий омут. Вдоль омута каждое лето намывало длинную косу белесого песка, и ребятня редко купалась в другом месте.

До омута не близко, а сразу за поворотом, посреди зеленых и круглых, как блины, листьев кувшинок, Ленька с Аликом Микиткиным наткнулись на брошенную лодку. Наполовину затопленная водой, стояла она в заводи метрах в трех от берега.

— Чья такая? — удивился Ленька.

— Не узнал? Общественная. В половодье Миша Шапкин на ней за реку перевозил.

— А чего бросил?

— Видно, совсем до ручки дошла. Вишь, воды сколько набралось. Да и деваться ей некуда, внизу — запань, а вверх по перекатам на такой барже не поедешь. Прокатимся?

— Ну ее, возиться. Весел нет, воду выливать надо. Да еще лезть за ней — была нужда!

— Напридумывал делов! — возмутился Алик. — Погоди здесь, я длинный кол поищу.

Он побродил возле огорода, которым поскотина отделя-

лась от дикого леса, и вскоре вернулся с жердью. Вдвоем накинули конец жерди на борт лодки, тихонько потянули к берегу. Лодка неохотно, боком стала приближаться, пока не уткнулась днищем в илистое дно заводи. Ребята сняли ботинки, сбросили штаны, пыхтя выволокли нос лодки повыше на траву, откачали воду.

— Ну вот, а ты боялся! — весело воскликнул Алик. — Садись, прокачу!

Лодка тяжелая, неуклюжая, зато не вертится, как долблена, хоть не быстро, но правится к омуту. Доплыли, разделись и — в воду. Только теперь оценили, что за находка им досталась. Купанье с лодки ни в какое сравнение с другим не идет. И с борта нырнуть, и под водой, под днищем, проплыть, и просто так полежать в пузырчатой воде, держась рукой за борт, — одно удовольствие. Притомились уже, а в лодку залезать не хотелось.

— Давай за корму руками толкать к берегу, — предложил Ленька.

Так и сделали. Старались-старались, подогнали-таки лодку к песчаной косе. И сразу на конфуз нарвались, потому что, из воды не вылезая, заметили, как бегут наперегонки к омуту поселковские девчонки. Сунулись в лодку, чтобы трусы натянуть, бортом прикрываясь, и ахнули. И штаны, и ботинки, и вся прочая амуниция плавала в воде, которая снова щедро плескалась под скамейками. Пока выуживали, девчонки к самому мыску подбежали и взвизгнули, захохотали:

— Бессовестные!

Самое плохое, что Катя с ними. Вот влипли! В воде по плечи стоя, натянули необходимую для приличия часть одежды, выбрались на песок мокрые, озябшие, с посиневшими губами. Пока девчонки раздевались неподалеку, выжали остальную одежду, разостлали на песке сушиться. Жалко ботинок: за сохнут и растрескаются чего доброго. А до новых... далеко до новых! Но, видно, день такой выдался безалаберный, все нипочем казалось.

Заплескались, завизжали на мелком месте Динка с Лелькой. Развалилась на горячем песке Маша Булкина. И только Катя смело, ребячьими саженками плыла к середине реки. Ее узкое тело рыбой разрезало прозрачную волну, и непонятный восторг окатил Леньку. Он сорвался с мыска, с плеском бросился в воду, нырнул и плыл, задержав дыхание, до тех пор, пока впереди не увидел старательно плывущую Катю. Он пробкой вынырнул возле нее и с наслаждением хватил свежего речного воздуха.

— Ой! — взвизгнула Катя и сбилась с темпа. — Ленька, не подплывай ко мне, я боюсь!

— А я и не подплываю, — ответил он, бессознательно подвигаясь ближе.

— Не подплывай! Ой! — снова вскрикнула Катя и хлебнула воды.

Теперь она испугалась не на шутку, даже лицо побледнело. У Леньки тоже тревожно забилось сердце.

— К берегу поворачивай!

Заметив его испуганные глаза, Катя лихорадочно забила руками и ногами, повернула к берегу. Вскоре Ленька, плывший рядом, почувствовал под ногами дно.

— Все!

Она сделала еще несколько гребков и обессиленная, почти на четвереньках, выбралась на песок.

— Дурак! — тяжело дыша, проговорила она, глядя на Леньку полными слез глазами.

— Да чего я такого сделал?

— Напугал, вот чего. Утонула бы...

— Не утонула бы! — уверенно сказал Ленька. — Я ведь около тебя плыл.

И с радостью заметил, как на Катином лице пробивается ласковая улыбка.

Вот ведь и тогда они утонуть могли, а не страшно было, не то что теперь, когда чуть трясина не засосала да смерть из ствола прямо в глаза глядела. Ленька снова вздрогнул от запоздалого страха и отчаянно крикнул:

— Ваня-я-яя!

— Здесь я! — донесся сверху голос Ивана. — К тебе пробираюсь!

— Поймал чего-нибудь? — сразу успокоился Ленька.

— Килограмма три есть!

«Ого! — Ленька взглянул на трех тощих, подсохших хариусов. — Надо наверстывать, а то опозорюсь!»

Он продрался сквозь чапыжник на отмель, за которой образовался глубокий темный омут. Вода, огибавшая край отмели сердитым потоком, в омуте затихала, неторопливо кружила, неся поверху пенные пузыри. Осторожно ступая, Ленька приблизился к струе, бросил наживку, которая тотчас исчезла в глубине. Поплавок почти сразу резко дернулся, скрылся под водой.

Ему доводилось ловить крупную рыбу, но такую... Кто-то водил леску кругами, то натягивая, то ослабляя. Подтащить добычу к берегу не удавалось, удилище гнулось в дугу. К счастью, рыба взяла надежно, и через несколько минут Ленька все же пересилил ее. «В воде надо брать!» — сообразил он, заметив длинное, как полено, и такой же толщины тело. Осторожно, придерживая леску двумя пальцами левой руки, он опустил правую руку в воду, прицеливаясь к жабрам.

Хариус рванулся, и леска заскользила между пальцами обратно в реку. «Уйдет! — в отчаянии подумал Ленька и тут же осадил себя: — «Спокойно, спокойно, не отцепился пока!»

Ухватить и вытащить громадного хариуса удалось только с третьей попытки. Сжав трепыхавшуюся рыбину, Ленька бегом понес ее прочь от воды, еле удерживая в руках. Лишь у самых кустов осмелился бросить серебристого красавца на землю. Почти полуметровый, тяжелый и сильный хариус лениво шевелил хвостом.

— Хорош, бродяга! — восхищенно произнес Иван, спускаясь на отмель. — Здесь взял?

— Здесь, — кивнул Ленька, в свою очередь с завистью глядя на тяжелый влажный мешок в руках товарища. — Одного только и заарканил. Да вот, — он показал остальной улов.

— Молодец! — похвалил Иван. — На первый раз классно... А ну-ка, проверим твой омуток.

Незаметно они забрались далеко от лагеря. Когда солнце перекатилось за полдень и дал знать о себе голод, решили возвращаться. Чтобы не путаться в прибрежных кустах, пошли напрямик лесом. По дороге наломали ядреных подосиновиков, и Ленька, уже забывший о страшной встрече с лодочником, самодовольно представлял шумную встречу в лагере, хлопоты Настасьи, деловитого Егора, который тотчас же, конечно, возьмется чистить рыбу, добрую улыбку Ивана Ивановича.

Триумф не состоялся. В лагере было пусто, у костра одиночко сидела расстроенная Настасья.

— Что стряслось? — тревожно спросил Иван.

— Хипиша нема. Як з ранку пишов, так и не було. Чи в воду попав, чи блукае десь?

— Не кричали?

— Та вже ж кричали! Ивлев з Егором пийшли шукати...

— Ну Хипиш! — покачал головой Иван. — Рюкзаки смотрели, все цело?

— Ой, лышенько! Та неужто ж...

Сложив грибы и рыбу у костра, вытащили рюкзаки из палатки. Даже не заглядывая, Ленька понял, что рюкзак опустел наполовину. И в самом деле не оказалось банок с консервами.

— Украд, паразит! — возмутился Ленька.

Иван, проверивший свой рюкзак, недобро улыбнулся:

— Теперь-то я его разыщу... Далеко не убежит, перейму! Считай часы, Хипиши!

Глаза Ивана свирепо сузились, а рот по-прежнему был растянут в улыбке, и эта неестественная улыбка на бледном лице казалась приклеенной.

— Ваня! Та брось, Ваня! — всполошилась Настасья. — Та на що вин тоби здався, поганка!

— Молчи, Настя! — буднично бросил Иван, вставая. — Слово на мне.

Он расправил ремень, рывком поднял брошенную у кострища куртку.

— Ваня, подожди! — вскочил Ленька, чуя недоброе, и схватил Ивана за руку, — Ивлева подожди, Ваня!

Пристально заглянул Иван в глаза Леньке, на самое дно, потепел.

— Ладно, Лешка. Дождемся Ивлева. Да вот и он!

Начальник подошел, ни на кого не глядя, присел на обрубок дерева, приготовленного для костра, положил винтовку рядом и принял снимать сапоги.

— Сучок в голенище попал, что ли, всю ногу искололо, — сказал он спокойно, и тем же тоном Ивану: — Не шали, не догонишь. На лодке ушел.

— Как на лодке? — ошеломленно переспросил Иван. — Откуда?

— Следы видел. К берегу чалились.

— Была лодка! — подтвердил Ленька и рассказал, как его чуть не подстрелили вместо медведя.

Иван в сердцах швырнул куртку оземь и опустился на корточки:

— Как же я-то ее не заметил?

— Ты в кустах в это время был.

— К Сыктывкару станет править Хипиш, верь слову, — скромно добавил Ивлев. — А туда ему раньше чем через две недели не попасть. Тем временем сообщим куда следует, пereхватят.

Из-за палатки неслышно вывернулся Егор, тоже присел на корточки у потухшего костра.

— Рвань! — сказал тяжело, будто камень в воду бросил. Потом прихватил мешок с рыбой и подался к реке — чистить. Настасья ссыпала грибы в котел и тоже скрылась под обрывом.

— Пропади он пропадом, сукин сын! — взорвался вдруг Ивлев. — Не жалко подонка! Жалко, что дело загубил. Без продуктов оставил, черт с тобой, жри, на дичине проживем. Трассу вчетвером не осилить, вот где беда-то! А не осилим — новый отряд слать по маршруту? Зима на носу. Эх, Хипиш, Хипиш!

— Как так — вчетвером? — звонким от волнения голосом заговорил Ленька. — А я-то на что, Иван Иванович? Думаете, с работой не справлюсь? Справлюсь не хуже Хипиша! Честное слово!

Иван вдруг расхохотался и легонько толкнул сидящего у кострища Леньку в плечо. Ленька растянулся на земле, задрав ноги в неуклюзиях сапогах, но тут же вскочил и с глазами, полными слез, выкрикнул:

— Не верите, да? За младенца меня все считаете! Эх вы!

— Не шуми, не шуми, кремешок! — посмеиваясь, осадил его Ивлев. — Ишь, характер-то из тебя попер, аж искры летят!

Решено. Будешь на рейке вместо Хипиша. Благо рюкзаки теперь полегчали. Ох, выращу я на свою шею второго Ивана! Мало мне с одним-то мороки!

Он сокрушенно вздохнул, но глаза лучились усмешкой.

— Как же ты прошляпил Хипиша? — спросил Иван. — Рядом ведь сидел!

— А черт его знает — как! — развел руками Ивлев. — Он тут сновал-сновал, путался, то одно возьмет, то другое, то палатку обойдет, то костер. С рюкзаком своим возился, да мне невдомек, что он тягу дать собрался. Потом Егор не выдержал: «Хоть бы в лес ты убрел, что ли!» А он будто обрадовался: «Верно, схожу за грибами!» И не хватились до самого обеда, пока я в палатку не заглянул. Вижу, рюкзака нет и еще койчего. Я — винтовку в руки, да по следу. Он, подлец, лесом-то метров триста всего прошел, потом к реке спустился, по течению у самой воды след тянется. Дальше, смотрю, на берегу топтались, борозда по песку от лодки. Все ясно, попутчика сыскал...

Когда сварилась уха, поджарились грибы, все жадно набросились на еду, дружно похваливали рыбака Леньку, который от смущения по уши заливался краской. Иван Иванович не заметно перевел разговор на серьезное.

— Лешку речником думаем поставить. Сдюжит ли?

— А чего ж не сдюжит? И Петро на цей роботи не переламывався. Чи правду кажу, Егор?

— С вора спрос невелик. Одно слово, рванина! Хуже не будет, — неторопливо ответил Егор.

— Хлопчика тильки жаль, замается хлопчик...

— Ничего! — успокоил Ивлев не столько Настасью, сколько Леньку, который снова напрягся, готовый спорить. — Кремешок у нас парень — что надо! Лесная душа. Выдюжит.

Ленька удовлетворенно засопел, доедая уху.

— Так-то так, Иванович, — задумчиво сказал Иван. — Только ведь за августом сентябрь будет. Второго выхода в поле Лешка не вынесет. Загубим парня.

— Ох и умная у тебя голова, Ваня, да дураку досталась, верь слову! — неожиданно съязвил Иван Иваныч. — И все-то ты поперед батьки в пекло лезешь. Не волнуйся, пристроим с сентября кремешка в Ухте, в ГРК. Перезимует, пооткорчится, окрепнет, а с весны — снова в отряд. Как, кремешок, согласен?

— Не зна-аю... — озадаченно протянул Ленька.

— Что, не понравилась бродячая жизнь?

— Понравилась. Мне бы не в контору. Мне бы — с вами...

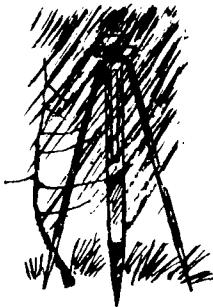
— Упрямый бес, верь слову! Так что у нас получается? Получается, что мы тебе подходим? Стало быть, и ты нам подходишь. А уговор помнишь? Кто в отряде хозяин?

— Начальник. Как на корабле капитан.

— И слушаться его надо...

— ... как отца родного! — засмеялся Ленька.

Пролетел над Вычегдой невеста откуда взявшийся предвечерний ветер, выдул из костра плотный сноп искр. Сурово зашумели деревья над обрывом, будто оплакивая уходящее лето. Притихли топографы, слушая вечную жалобу леса, и Ленька совсем по-иному взгляделся в загорелые, твердые лица людей, с которыми завтра придется ломать тропу.



СОДЕРЖАНИЕ

«Муха»	4	Разлад	51
Школьный день	12	Пошутили...	55
Выстрелы	20	Три смены	58
Дед Сержант	33	Откровения Валентина	
В дороге	38	Золина	62
Половодье	42	У развалин	74
Ночлег	45	Кремешок (повесть)	82

Для младшего и среднего школьного возраста

Елесин Василий Дмитриевич

КРЕМЕШОК

Редактор Ю. М. Леднев

Рецензент И. Д. Полянов

Оформление художника Э. В. Фролова

Художественный редактор В. С. Вежливцев

Технический редактор Н. А. Чинис

Корректор Н. С. Дуласова

Сдано в набор 10.11.81 г. Подписано в печать 27.05.82 г. ГЕ04215.
Форм. бум. 60×90₁₆ (бум. офсетная). Фотонабор. Печать офсетная.
Физ. печ. л. 10,0. Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 10,153. Тираж 50000.
Заказ № 8560. Цена 50 коп.

Северо-Западное книжное издательство, Вологодское отделение, Вологда,
Урицкого, 2.
Областная типография, Вологда, Челюскинцев, 3.

**В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ
КНИЖНОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
В 1982 ГОДУ ВЫХОДИТ**

**для детей среднего и старшего
школьного возраста**

Блинов Н. Н. КОСТЕР И ПАРУС

**Книга рассказывает о создании первых пионерских отрядов,
построена на архангельском материале.**

